



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	Постсоветская политическая система в России (возникновение, эволюция и перспективы трансформации)
Author(s)	Клямкин, Игорь М.
Citation	Acta Slavica Iaponica, 17, 172-221
Issue Date	2000
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/39362
Type	departmental bulletin paper
File Information	ASI17_006.pdf



ПОСТСОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ (ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ)¹

Игорь М. Клямкин

В период между 17 августа и началом декабря 1998 г. у многих аналитиков создалось впечатление, что в России начал складываться консенсус различных политических сил относительно нежизнеспособности сформировавшейся в стране политической системы, узаконенной действующей конституцией. Если до этого критика данной системы и призывы к ее корректировке раздавались преимущественно из лагеря коммунистической оппозиции, то в отмеченный период о необходимости конституционной реформы публично высказались даже представители администрации Б. Ельцина. Да и самому президенту, судя по его готовности заключить соглашение о перераспределении полномочий между ветвями власти, выраженной после выдвижения им кандидатуры Черномырдина на пост премьера, такого рода идеи не были чужды. Между тем еще весной 1998 г. Ельцин категорически заявлял, что до тех пор, пока он остается президентом, конституция изменена не будет.

Такая смена настроений выглядела вполне логичной, учитывая финансовый обвал 17 августа, вся ответственность за который в глазах населения легла на Ельцина, что и продемонстрировали массовые акции протеста 7 октября 1998 г., проходившие под лозунгами его отставки. Но этот наметившийся было поворот казался логичным не только поэтому. Созданная Ельциным политическая система не в состоянии обеспечить долговременную консолидацию общества и политического класса, не может гарантировать эффективность функционирования государственной власти. И само понимание этой неэффективности сблизило в отмеченный период различные, даже непримиримо противостоящие друг другу, политические группировки.

Разумеется, каждая из них стремилась извлечь из этой ситуации максимальные выгоды для себя, что отчетливо проявилось в разногласиях как по поводу содержания предстоящей конституционной реформы, так и относительно процедуры ее осуществления. Вместе с тем большинство политиков осознало, что обвал государственности, перспектива которого стала в 1998 г. вполне реальной, сметет со сцены и их, а это, в свою очередь, заставило их думать не только об узкопартийных, но и об общегосударственных интересах. Об этом красноречиво свидетельствует компромисс, достигну-

1 Статья подготовлена автором на основе доклада, прочитанного 28 января 1999 г. на научной конференции в центре славянских исследований университета Хоккайдо.

тый относительно фигуры Е. Примакова, предложенной на пост премьер-министра президентом и сразу же поддержанной почти всеми фракциями государственной думы, - за все время ее существования с 1993 г. такого согласия еще не наблюдалось.

Однако в начале декабря 1998 г. Ельцин, отправив в отставку почти всех руководителей своей администрации, вновь заявил, что конституция изменяться не будет. Похоже, ставка была сделана на создание условий для прихода в Кремль приемлемого для Ельцина преемника, а компромисс, достигнутый относительно Примакова, истолкован в том смысле, что консолидация политического класса вполне достижима и при нынешней политической системе. Между тем стратегическая обоснованность такого хода мысли уже в то время у многих экспертов вызвала большие сомнения. Ведь компромисс по поводу Примакова был сугубо ситуативным, институционально ничем не обеспеченным, что сделало самого Примакова его заложником, заставило премьера заботиться прежде всего о сохранении своего имиджа политического стабилизатора, а это, в свою очередь, находилось в противоречии с его собственным неустойчивым положением между двумя конфликтующими институтами - президентом и нижней палатой парламента.

Одной из существенных предпосылок этого компромисса стало то, что президент, сделав уступку парламентскому большинству, рассчитывал переложить на государственную думу значительную часть ответственности за экономическую политику. Проблема однако в том, что ни одна из парламентских фракций, поддержавших поначалу Примакова, не считала его правительство своим, ответственности за его деятельность не брала и в любой момент могла от него отмежеваться, объявив его курс неприемлемым. Первые симптомы этого обнаружились уже в конце 1998 г.: парламентская фракция "Яблоко", инициировавшая выдвижение кандидатуры Примакова, отказалась поддержать предложенный его правительством проект бюджета на 1999 г.

В чем-то похожую ситуацию Россия уже однажды переживала: в конце 1992 г. Ельцин, уступив съезду народных депутатов, отказался от неприемлемой для них кандидатуры Е. Гайдара и предложил В. Черномырдина, которого большинство съезда с готовностью поддержало. И, тем не менее, спустя некоторое время новое правительство, а вместе с ним и президент стали объектами ожесточенной критики со стороны депутатов. В нынешний же период ситуация усугубляется еще и тем, что страна вошла в очередной предвыборный цикл.

Неэффективность сложившейся в России после 1993 г. политической системы, невозможность осуществления в ее рамках инициативной и целенаправленной государственной политики выявлены в ряде исследований, осуществленных в последнее время российскими аналитиками. Одна из главных причин этого усматриваются обычно в конституционном распределении властных полномочий на федеральном уровне и между цент-

ром и регионами. Соглашаясь с таким подходом в принципе,² хочу, вместе с тем, отметить, что он оставляет в стороне вопрос об исторических и политических причинах формирования в России именно такой, а не какой-либо другой политической системы. Причины же эти трудно понять, если ограничиваться рассмотрением только способа функционирования власти, абстрагируясь от способа ее легитимации и тех *противоречий между способом функционирования и способом легитимации*, которые обнаруживают себя на всем протяжении реформаторского периода, начиная с горбачевской перестройки. Поэтому в фокусе моего внимания будут именно эти противоречия, их исторические корни и их конкретные трансформации в течение данного периода.

Автор исходит из того очевидного факта, что все изменения, происходившие в политической системе в ходе либерализации коммунистического режима и после его ликвидации, не были результатом реализации продуманного стратегического замысла, а определялись сугубо ситуативными потребностями, конъюнктурой политической борьбы. Так было при Горбачеве и так продолжалось при Ельцине. Иными словами, процесс изменений осуществлялся в значительной степени стихийно, методом проб и ошибок: под давлением текущих обстоятельств политики принимали решения, руководствуясь определенными конкретными целями, но результаты их деятельности оказывались, как правило, с этими целями не совпадающими, а нередко и прямо противоположными. Тем не менее в изменениях прослеживается своя логика, в которой преобразование политических институтов детерминировалось различными факторами: вектором эволюции политических настроений в обществе, функциональной дееспособностью или недееспособностью старых структур для решения новых задач, политическими интересами отдельных групп и лидеров, а также унаследованной ими политической культурой.

Последнее особенно важно подчеркнуть, учитывая распространенное в России мнение о том, что либерализация и демократизация страны осуществлялись посредством механического переноса на российскую почву зарубежных институтов при игнорировании своеобразия национальной культуры.³ Разумеется, заимствования имели место, но они подвергались

2 Наиболее обстоятельно и последовательно данный подход реализован в коллективном докладе, подготовленном группой экспертов российского фонда "Реформа" под руководством А.М. Миграняна при участии А.Ф. Елыманова, А.В. Рябова, В.Д. Соловья и Р.Ф. Туровского. См.: Проблема субъектности российской политики. Олигархизация власти в Москве чревата ослаблением государства // Независимая газета. 18-19 февраля 1998.

3 Критика российской либерализации как внекультурного (по отношению к национальной традиции) феномена осуществляется с разных, порой прямо противоположных позиций. Так, Б. Капустин делает это в рамках либеральной парадигмы, усматривая основной порок российских институциональных реформ в их неписанности в национальный культурный контекст (см.: Капустин Б.Г. Современность как предмет полити-

сильной политико-культурной коррекции, что позволяет считать процесс российских преобразований вполне самобытным: разрыв с традицией действительно имел место, но осуществлялся он в соответствии с традицией, а не вопреки ей. Другое дело, что происходящие в России процессы выявили уязвимые места национальной политической культуры, ее слабую приспособляемость для решения стоящих перед страной новых проблем, обнаружили ее кризисное состояние. Но это вовсе не значит, что институциональные преобразования осуществлялись вне национального культурного контекста.

Анализируя процессы трансформации российской политической системы, я старался, не вычленяя этот момент специально, постоянно иметь его в виду. Отсюда - доминирующий акцент на своеобразии российского политического процесса, на его отличиях от других демократических транзитов, а не на сходстве с ними. Отсюда же и некоторые особенности изложения, в котором институциональные изменения рассматриваются не сами по себе, а в контексте конкретной деятельности конкретных политических персонажей, руководствующихся определенной мотивацией, отнюдь не нейтральной по отношению к унаследованному ими культурному коду. Наконец, в традиционные пласты российской политической культуры уходит своими корнями само противоречие между способом функционирования власти и способом ее легитимации, находящееся, как уже было сказано, в центре внимания автора.

ПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЯ СОВЕТОВ И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Основная трудность, которая оказалась камнем преткновения для российского политического класса в строительстве новой государственности, - это и есть как раз трудность создания такой системы, которая обеспечивала бы устойчивую легитимность власти. Это связано в значительной степени с изменением самого типа легитимации, которое, даже не будучи радикальным, всегда происходило в России чрезвычайно болезненно.

В первый раз после образования русского централизованного государства она столкнулась с данной проблемой на рубеже 16 и 17 столетий, когда

ческой теории. М., РОССПЭН, 1998). А. Панарин, наоборот, исходит из неприемлемости для России либерально-западной модели вообще, противопоставляя ей модель почвенническую (державно-патриотическую), включая ее мессианские аспекты (см.: *Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке*. М., 1998). При этом первый автор обходит вопрос о том, *какие именно* особенности национальной культуры могут быть органично вписаны в либеральную парадигму, обеспечив формирование ее специфически российской модификации, а второй - вопрос о том, каким образом в ходе реставрации российской государственной традиции избежать тех крайностей, которые имели место при самодержавном правлении и которые у самого Панарина симпатий не вызывают.

оборвалась прежняя династическая ветвь и возникла необходимость в основании новой властвующей династии; это вовлекло Россию в долгий период общественной смуты, полного распада государственности. Земский собор, избравший в 1598 г. на царствование Бориса Годунова, не был воспринят в качестве легитимирующего института, заменяющего наследственную процедуру получения власти; он смог стать таковым только 15 лет спустя в результате трагического опыта русской смуты. Однако и после этого, на протяжении почти всего 17 столетия, страну потрясали народные волнения, нередко ставившие под сомнение и божественность царской власти в том или ином персональном ее воплощении.

Второй кризис, последовавший после отречения от престола императора Николая II, а затем и его брата Михаила, привел к разрушению монархической легитимации как таковой. В ситуации, когда к демократической легитимации страна была исторически не готова, это привело к захвату власти леворадикальной партией большевиков. Последние легитимизировали ее с помощью коммунистической идеологии, харизматических революционных вождей и насильственного подавления или устрашения тех, кто в новую идеологическую парадигму не вписывался. К этому добавлялось широкое использование механизмов “социалистической демократии” (советской конституционности и выборных процедур), которая от демократии “буржуазной” отличалась тем, что была не либеральной, а тоталитарной, т.е. подконтрольной государственному аппарату и исключавшей политические свободы.

Сегодня Россия переживает третий кризис такого рода, глубина которого несколько затушевывается относительно мирными, по сравнению с двумя предыдущими, формами его протекания (хотя тоже не без срывов в насилие). Эта глубина определяется тем, что страна впервые в своей истории в течение относительно длительного периода пытается освоить современный демократический способ легитимации власти. И вопрос о том, завершится попытка успехом или закончится провалом, остается пока открытым.

После того, как старые способы легитимации, характерные для коммунистической эпохи, были исчерпаны, начались - еще во времена М. Горбачева - поиски новых источников. Эти поиски не завершились до сих пор: все последнее десятилетие - это цепь чередующихся делегитимаций власти и ее новых легитимаций, которые, в свою очередь, тоже оказывались недолговечными, причем законность власти, ее формирование в соответствии с конституционными нормами, сами по себе, как свидетельствует опыт, ее легитимность не обеспечивают. Иными словами, Россия проходит политические циклы, которых в других посткоммунистических странах мы не наблюдаем: утверждение демократического типа легитимации происходило в них достаточно быстро и в общих чертах завершилось, между тем как в России данная проблема до сих пор составляет предмет всеобщей озабоченности. И дело тут не столько в ошибках тех или иных лидеров, как принято

считать, сколько в объективной логике трансформации и демонтажа коммунистического режима в специфически российском историческом и культурно-политическом контексте и при том балансе сил и интересов, с которым политические руководители не могли не считаться.

Горбачев, став генеральным секретарем ЦК КПСС, довольно быстро понял, что власть, сосредоточенная в руках руководителя партии, не такая уж беспредельная. Точнее, она была неограниченной лишь в том случае, когда речь шла о сохранении основ коммунистической экономической и политической системы. Но она стала явно недостаточной для трансформации этой системы, для ее реформирования, затрагивавшего интересы широких слоев правящего класса. В таких условиях реформатор вынужден был искать новые источники своей легитимации. И он нашел их в *парламентаризации советов*, что потребовало введения института относительно свободных выборов. Эта идея позволяла соединить реформирование политической системы с сохранением преемственности по отношению к прежней ее модификации и правопреемство по отношению к советскому периоду в широком смысле слова: ведь советы, будучи фактически безвластными, являлись тем не менее формально-юридической основой коммунистической организации власти. Свободные выборы как раз и призваны были придать их формальному статусу реальное содержание, вывести тем самым политическую систему из стагнации и обеспечить политическую базу для реформаторской деятельности Горбачева и поддерживавших его сил. Однако на деле такое реформирование системы стало началом ее распада, так как противоречия, возникшие в результате парламентаризации советов, были объективно неразрешимыми.

Эти противоречия и стали теми исходными импульсами, которые предопределили дальнейшую трансформацию политической системы сначала в Советском Союзе, а затем и в посткоммунистической России.

Сразу же после первых выборов (весна 1989 г.) выяснилось, что парламентаризованные советы плохо совмещаются с сохранением политической гегемонии КПСС, от которой Горбачев в то время не намерен был отказываться. Наоборот, он собирался ее посредством свободных выборов укрепить, придав дополнительную легитимацию генеральному секретарю ЦК партии, ставшему одновременно и председателем высшего выборного законодательного органа. Несостоятельность замысла во многом определялась уже самой природой советов. Изначально они проектировались и на протяжении семидесяти с лишним лет функционировали как структуры принципиально непарламентские и даже противостоящие "буржуазному парламентаризму", так как формально соединяли в себе законодательную, исполнительную и судебную власть. Однако в силу того, что подобная система является нежизнеспособной, она нуждалась в цементирующей структуре, каковой и стал аппарат КПСС в центре и на местах. Попытка придать советам парламентский статус постоянно действующих законодательных органов, наделенных правом контроля за исполнительной властью, и вве-

дение свободных выборов с правом выдвижения нескольких кандидатов (даже при специальной квоте для КПСС и ее сохранявшейся организационной монополии) не только не укрепили легитимацию власти коммунистической партии, но и ускорили делегитимизацию этой власти. Учреждение в 1990 г. поста президента СССР, который, по замыслу, должен был одновременно быть и лидером КПСС, в данном отношении ничего уже изменить не могло.

Чтобы сохранить свои позиции в парламентаризированных советах, КПСС должна была превратиться из тоталитарной партии авангардного типа в партию парламентскую. Однако мечта Горбачева о социал-демократизации КПСС так и осталась нереализованной. Как показал последующий опыт, такие трансформации в принципе возможны, но только *после* распада коммунистических режимов, т.е. после демократической трансформации всей политической системы, исключающей притязания какой-либо политической организации на роль партии-авангарда. Но осуществить такое преобразование, сохранив при этом власть, сами компартии не в состоянии. Не берусь судить о том, насколько возможно это в пространстве азиатской политической культуры, - пока Китай продолжает быть по способу организации власти коммунистической страной, вопрос остается открытым. Что касается Европы и евразийской России, то здесь мы имеем дело с правилом, из которого нет исключений.

Парламентаризация советов в значительной степени легитимизировала и распад СССР. Впрочем, если исходить из того, что распад его рано или поздно был неизбежен, то такая легитимация предотвратила, возможно, более острый и конфликтный демонтаж советской империи, обеспечив его относительно цивилизованные формы. Однако подробное рассмотрение этой темы выходит за рамки данной статьи. Отмечу лишь, что ни в одной из бывших советских республик парламентаризация советов не сопровождалась столь серьезными последствиями, как в посткоммунистической России, где она вызвала глубокий кризис власти и непримиримую политическую борьбу, закончившуюся неконституционным роспуском верховного совета и кровопролитием в центре Москвы. Противоречия, заложенные в политическую систему в 1989-1991 гг., после распада этой системы и упразднения КПСС в России не исчезли, а воспроизвелись в новой, посткоммунистической форме в период 1991-1993 гг.

Еще во время существования СССР несовместимость парламентаризированных советов с сохранением монополии КПСС на власть проявилась в резких столкновениях между различными группами внутри российского съезда народных депутатов и сформированного им верховного совета. После отмены шестой статьи советской конституции, юридически закреплявшей руководящую роль коммунистической партии в государственной и общественной жизни, и провозглашения суверенитета Российской Федерации и приоритета ее законов над союзными, представительные органы республики - съезд народных депутатов и верховный совет - стали по суще-

ству единственными легитимными структурами власти на ее территории. Однако структуры эти были расколоты на антиткоммунистическое крыло, объединившееся вокруг Ельцина и имевшее широкую поддержку среди населения (прежде всего в крупных и крупнейших городах), и силы, сохранявшие имперско-коммунистическую ориентацию.

Компромисс сторонников Ельцина с наименее идеологизированной, прагматической частью этих сил обеспечил его избрание после нескольких голосований на пост председателя верховного совета. Однако компромисс был крайне неустойчивым. И дело не только в том, что Ельцин был избран незначительным большинством голосов. Дело в том, что логика политической борьбы толкала его ко все более острой конфронтации с союзным центром и лично с Горбачевым. Популярность последнего стремительно падала, и любые компромиссы с ним моментально сопровождались падением популярности Ельцина, что ослабляло его и без того не очень устойчивую легитимацию. В свою очередь, самого Горбачева это подталкивало к поиску союзников среди консерваторов, а его союз с ними в конце 1990 г. по закону цепной реакции обернулся прямым призывом Ельцина к отставке Горбачева с поста президента СССР. Такое развитие событий не могло не сопровождаться изменением баланса сил и внутри верховного совета Российской Федерации.

Я напоминаю об этих фактах, чтобы показать, что последовавшая за ними трансформация российской политической системы (как раньше трансформация системы союзной) всецело определялась именно логикой текущей политической борьбы, а не долгосрочными проектами государственного строительства и стратегическими соглашениями основных политических субъектов. Фундаментальные проблемы институционализации российской власти решались как проблемы преимущественно тактические, а не стратегические, что в дальнейшем не могло не сказаться. В данном случае логика конфронтации с союзным центром трансформировалась в начале 1991 г. в острое публичное противоборство внутри представительного выборного органа и раскол среди его руководства. В сложившейся ситуации Ельцин, легитимность которого в значительной степени определялась именно этой структурой, вынужден был искать способ трансформации поддержки со стороны политически активной части общества в дополнительный фактор своей легитимации. Так возникла идея введения поста президента, выбираемого населением, - идея, для российской политической традиции принципиально новая и, тем не менее, окольным путем, через сложные перипетии политической борьбы, возвращавшая именно к этой традиции.

Она была новой, даже революционной, с точки зрения способов формирования верховной власти и источников ее легитимации в условиях, когда прежние источники (наследственно-монархические и идеологические) выявили свою историческую исчерпанность. Но одновременно это было и движение к привычному для России типу функционирования власти как власти персонифицированной и единоличной, всецело воплощенной

в одном лице. Правда, нетрадиционный способ легитимации не мог не сопровождаться определенными изменениями и в способах функционирования, однако преемственная связь с традицией тоже пробивала себе дорогу, и это противоборство двух тенденций не завершилось до сих пор.

Его политико-культурная природа определяется тем, что российский политический класс и российское общество привыкли мыслить не столько в логике государственно-институционального устройства, сколько в логике *обладания властью*, в логике того, кому она (*вся, целиком*) принадлежит. Поэтому понятие власти в российском менталитете обладает более глубокой смысловой наполненностью, чем понятие государства, - показательно, что в коммунистический период в обиходе укоренилось словосочетание "советская власть", а не "советское государство", причем государство, в соответствии с официальной идеологической доктриной, рассматривалось даже как обреченное на отмирание. Что касается институциональных перемен, то они обычно играют в этом контексте подчиненную роль. Горбачев ради укрепления своей власти трансформировал советы, которые, в свою очередь, стали использоваться опять-таки в борьбе за власть, - на этот раз с самим Горбачевым и между различными группами и лидерами внутри советов. Когда же для одной из группировок такая борьба стала выглядеть бесперспективной, было инициировано создание нового института (президентства). При этом вопрос о том, насколько данный институт сочетается с другими и какой вообще должна быть оптимальная конфигурация институтов с точки зрения эффективного функционирования государства, даже не ставился. Думается, он и не мог быть поставлен - тому препятствовала не только отмеченная особенность российской политической культуры, но и уже заданная ею к тому времени логика институциональной трансформации.

Президентская система, возникнув в России в ходе политической борьбы и под ее непосредственным воздействием, была одновременно и ответом на функциональную недееспособность парламентаризированных советов, лишенных несущей организованной властной опоры, каковой была КПСС. В этом тоже заключается своеобразие происхождения института российского президентства. Но сначала оно не только не преодолело фундаментальное противоречие, свойственное парламентаризированным советам, но, наоборот, восстановило его, хотя и в модифицированном виде. Если раньше суть его заключалась в том, что юридическое полномочие советов сталкивалось с сохранявшимися притязаниями КПСС на властную монополию, то после ухода последней с политической сцены линия конфликта переместилась в плоскость "верховный совет - президент". При этом он неизбежно приобретал еще более острые формы, так как на этот раз трещина конфликта расколола не легитимную (избранные советы) и нелегитимную (КПСС) власть, а два властных института, легитимизированных всенародным голосованием.

Их ожесточенное противоборство, продолжавшееся почти два года,

выявило неготовность российского политического класса (в отличие, скажем, от политического класса стран Восточной Европы) к достижению согласия относительно разделения властей и соблюдения демократических правил политической игры. Довольно быстро выяснилось, что демократические процедуры легитимации власти каждая из сторон склонна использовать для воспроизводства традиционной для России властной монополии, в крайнем случае - для выстраивания такой политической системы, при которой разделение властей вписывалось бы в иерархию институтов, один из которых доминирует над всеми другими. И эта ментальная предрасположенность, уходящая корнями в многовековую традицию российской власти, не только не противоречила сложившейся в результате парламентаризации советов и введения президентской системы властной конфигурации 1991 - 1993 гг., но этой конфигурацией воспроизводилась и активно стимулировалась.

Выше уже говорилось о том, что парламентаризированные советы, в полном соответствии с национальной политико-культурной традицией, в противовес всевластию КПСС изначально утверждали свое собственное всевластие. К тому же в России в большей степени, чем в других советских республиках, воспроизводство культурного архетипа стимулировалось институционально, ибо здесь была воспроизведена союзная структура уже упоминавшегося съезда народных депутатов - громоздкого органа, способного функционировать лишь в популистско-митинговом режиме. Он был наделен практически неограниченными правами и создан для того, чтобы с его помощью обеспечивать гегемонию КПСС в процессе демократизации. Этой цели достигнуть не удалось, но само наличие данной структуры в силу ее монопольных властных полномочий во многом предопределило своеобразие политического развития России по сравнению с другими республиками бывшего СССР. И если многие российские депутаты поддерживали введение института президентства, то только потому, что съезд народных депутатов юридически оставался высшим органом власти в Российской Федерации.

Однако при всей безграничности полномочий, власть съезда была лишена другой необходимой - особенно в контексте российской политической культуры - составляющей. Она не была персонифицированной. Более того, в глазах населения высшая власть персонифицировалась в Ельцине, ставшем символом победы над коммунизмом в августе 1991 г. Поэтому и имела место парадоксальная, на первый взгляд, картина: съезд народных депутатов, который защищал население от непопулярных экономических реформ, начавшихся в январе 1992 г., пользовался в стране еще меньшим доверием, чем президент, с именем которого эти реформы в значительной степени ассоциировались.

В качестве альтернативы Ельцину съезд попытался использовать фигуру тогдашнего вице-президента А. Руцкого, который уловил запрос на персонификацию власти и готов был стать ее воплощением. Но попытка

закончилась неудачей. И дело тут не только и даже не столько в том, что Руцкой или председатель верховного совета Р. Хасбулатов не обладали необходимыми для национального лидера данными или не воспринимались в этом качестве большинством населения. Чтобы конкурировать с Ельциным в борьбе за персонификацию российской власти, нужна была, во-первых, принципиально новая парадигма власти, а во-вторых, нужно было, чтобы сама эта новая парадигма вызрела в обществе. Но ничего такого в тогдашней России не было: страна только что прошла до конца цикл отрицания и ниспровержения коммунистического режима, и любая попытка противостоять лидеру, который это отрицание и это ниспровержение олицетворял, могла восприниматься лишь как попытка повернуть события вспять.

Политически и идеологически противники Ельцина ничего противопоставить ему не могли. На их стороне было только преимущество в конституционных полномочиях, которыми они попытались воспользоваться, инициировав процедуру импичмента. Однако необходимого для импичмента квалифицированного большинства голосов им собрать не удалось. Что касается Ельцина, то он мог справиться с юридически всесильным съездом народных депутатов и верховным советом только с помощью неконституционных действий, используя свое преимущество в политическом капитале, которое было подтверждено состоявшимся в апреле 1993 г. референдумом о доверии президенту и поддержке проводимого им курса реформ. Как показали события 21 сентября - 4 октября 1993 г., начавшиеся с указа Ельцина о роспуске верховного совета и съезда народных депутатов и закончившиеся вооруженным штурмом здания, где заседали депутаты, капитала этого оказалось достаточно.

Так была подведена историческая черта под политической системой парламентаризированных советов, которые вскоре специальным указом были распущены по всей стране. Эта система, находившаяся в преемственной связи с политической системой коммунистической эпохи, способствовала относительно безболезненному преодолению всевластия КПСС. Однако ее нефункциональность и нежизнеспособность вызвали необходимость в ее дополнении новым для России институтом президентства, формируемым в результате всенародного голосования, что обернулось ситуацией принципиально не преодолимого двоевластия и сопутствовавшей ему деградацией едва начавшей формироваться государственности. Однако и новая система, возникшая после насильственного устранения этого двоевластия, оказалась не свободной от его следов: его симптомы постоянно воспроизводятся, хотя и в совершенно ином контексте и не в столь явных формах, о чем в дальнейшем еще будет говориться.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРИЗИРОВАННЫХ СОВЕТОВ К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ МОНОСУБЪЕКТНОСТИ

Конституция 1993 г., утвержденная на всенародном референдуме, юридически закрепила победу Ельцина над верховным советом и съездом народных депутатов. Фактически она документировала завершение советско-коммунистического периода российской истории и вхождение страны в новую - демократическую - эпоху. Однако в ее разделах, касающихся организации власти, мы снова обнаруживаем отмеченную выше закономерность: будучи следствием и документирующим завершением конфликта институтов, претендовавших на властную монополию, она преодолевала его не в логике компромисса (отказа от самой идеи монополии), а более последовательным утверждением российского политико-культурного принципа неделимости высшей государственной власти.

Политическая система, узаконенная этой конституцией, была сконструирована таким образом, чтобы обеспечить преимущество президента перед другими ветвями власти и тем самым исключить повторение конфронтаций, характерных для периода 1991-1993 гг. Должность вице-президента была упразднена. Государственная дума, сменившая распущенный верховный совет, стала нижней палатой парламента с весьма ограниченными полномочиями. Она утрачивала права контроля над исполнительной властью и получила лишь возможность утверждать или не утверждать предлагаемую президентом кандидатуру председателя правительства. Однако и эта возможность ограничивалась тремя голосованиями против президентского кандидата - после третьего отвержения президент наделен правом думу распустить. Президент получил также право вето на принимаемые парламентом законы, для преодоления которого требуется квалифицированное парламентское большинство. Назначение судей конституционного суда было передано предусмотренной конституцией верхней палате парламента (совету федерации), но - исключительно по представлению президента. Аналогичная процедура узаконена и по отношению к высшим руководителям других органов, входящих в систему федеральной судебной власти. Наконец, после опыта со съездом народных депутатов, имевшим возможность менять конституцию и пользовавшимся этой возможностью сполна, процедура таких изменений была настолько затруднена, что внесение их без согласия президентской стороны стало практически нереализуемым. Практически неосуществимой стала и формально предусмотренная основным законом процедура импичмента президента.

Таким образом, подобно тому, как полновластие советов было реакцией на полновластие КПСС, так и закрепленное в новой конституции фактическое полновластие президента явилось резким отталкиванием от полновластия советов - с той лишь разницей, что теперь само это полновластие было персонифицировано. Формально, правда, разделение властей конституцией предусматривается, но власть президента, как главы государства, или вбирает в себя ряд важнейших функций других ветвей влас-

ти, или позволяет осуществлять нейтрализацию нежелательных для себя тенденций в структурах законодательной, исполнительной и судебной властей.

Эта политическая система включает в себя отдельные элементы как американской, так и французской президентских систем. Однако в отличие от американского, российский президент может распускать парламент и не обязан согласовывать с парламентом назначаемых им членов правительства (кроме премьер-министра), а в отличие от французского, он может формировать кабинет независимо от результатов парламентских выборов. Можно сказать, что в России на федеральном уровне сложилась своеобразная комбинация институтов, в которой различные ветви власти являются относительно самостоятельными, в состоянии субординации не находящимися, но в которой элементы разделения властей перекрываются властной иерархией, предполагающей фактическое доминирование по составу полномочий одного из институтов над всеми остальными.

Исторический опыт позволяет уже оценить эту систему не отвлекаясь, руководствуясь абстрактными критериями, а вполне конкретно. С одной стороны, она позволила освободиться от противоречий, свойственных системе парламентаризированных советов в обеих ее разновидностях: советско-коммунистической, при которой сохранялась претензия КПСС на властную гегемонию, и советско-президентской. Концентрация власти в одних руках, сменившая бывшее двоевластие, приостановила обвальную анархизацию власти на федеральном уровне. Однако и в нынешней системе заложены противоречия, разрешимость которых представляется достаточно проблематичной.

Дело в том, что узаконенное сосредоточение огромных полномочий в одном персонифицированном институте, вполне соответствуя российской политической традиции, легитимизируется способом, который для России является совершенно новым - общенародными выборами главы государства. Прежние способы легитимации - монархическая (верховная власть от Бога) и партийно-идеологическая (власть от имени коммунистической идеи, фиксирующей, согласно доктрине, главный вектор мирового исторического развития) - позволяли в той или иной степени обеспечивать сакрализацию высшего должностного лица и дистанцировать его от непосредственной ответственности за происходящее в стране. Этому способствовало и его ограждение - а при коммунистическом режиме не только его лично, но и возглавляемой им правящей партии - от публичной критики. Однако политические свободы, легализовавшие оппозицию, и узаконенное право претендовать на высшую власть в ходе регулярно повторяющихся выборов уже сами по себе не могли не обусловить принципиальное изменение положения вещей. Совмещение максимизации властных полномочий с минимизацией политической ответственности стало практически невозможным.

Принципиально новый тип проблем, вставших перед российской властью

в результате изменения характера ее легитимации, обнаружил себя уже в период функционирования парламентаризированных советов. Подобно КПСС, им удалось соединить полновластие с дистанцированием от ответственности: в результате выборов по мажоритарной системе и при отсутствии политических партий, они получили право формировать исполнительные структуры и контролировать каждый их шаг, фактически не отвечая за их деятельность. Но их сакрализация в условиях свободы слова и неперсонифицированном характере их власти была недостижима, а без этого такая власть перестает восприниматься как власть. К тому же довольно быстро обнаружилось, что подобное полновластие без ответственности ведет к прогрессирующему кризису управляемости. Отсюда - введение потеснившего советы института президентства не только на федеральном уровне, но и в национальных республиках, а также институтов губернаторов и мэров, тоже избираемых непосредственно населением (в крупнейших российских мегаполисах, Москве и Петербурге, институт мэров возник по этой причине еще до августовского путча 1991 г.). Однако приспособление к новому способу легитимации власти и для этих институтов оставалось проблемой, причем особенно остро она обнаружила себя на уровне федерального центра.

Персонификация верховной власти и ее сосредоточение в руках президента после роспуска советов сделали его фактически неподконтрольным другим властным структурам. Более того, ему, казалось бы, удалось добиться статуса, которым обладали российские императоры и коммунистические генеральные секретари: имея возможность формировать федеральную исполнительную власть практически по своему усмотрению, формально он за ее деятельность не отвечает и любые неудачи может списать на ее счет. Однако именно такое положение главы государства, обусловленное его властными полномочиями, постепенно делало его (разумеется, не без помощи оппозиционной части политического класса) средоточием ответственности за происходящее в стране *в глазах населения*. Становилось очевидным, что при кризисном состоянии экономики и прогрессирующей неупорядоченности жизни, которые переживает Россия, максимизация полномочий первого должностного лица неизбежно оборачивается делегитимацией его власти.

Отрицательная (антикоммунистическая) легитимация, как показал опыт 90-х годов, является крайне неустойчивой. В России она типологически первоначально включала в себя, если воспользоваться известной классификацией М. Вебера, элементы как харизматической, так и рационально-легальной (конституционно-правовой и выборной) легитимации. Однако в условиях углубляющегося экономического кризиса и падения жизненного уровня значительных слоев населения харизматическая составляющая этой легитимации неизбежно тускнеет, а выборная составляющая без харизматической оказывается чрезвычайно слабой.

Это наглядно продемонстрировали президентские выборы 1996 г. Антикоммунизм при наличии реального коммунистического соперника по-

мог Ельцину победить на них даже при почти полной исчерпанности его харизматического потенциала. Однако голосование не столько “за”, сколько “против” (не столько за Ельцина, сколько против Зюганова) не могло обеспечить победителю устойчивой легитимации в пределах конституционного срока президентских полномочий. Отсюда - лозунг отставки президента, ставший особенно популярным после событий 17 августа. Формально за эти события отвечало правительство. Но в условиях, когда формирование правительства почти всецело определяется президентом, когда оно подчиняется только ему и собственного политического лица не имеет, неудачи кабинета министров ведут к делегитимации президентской власти.

Таким образом, при наличии легализованной оппозиции и выборном формировании власти ее концентрация в одних руках оборачивается в современной России не столько ее усилением, сколько последовательным ослаблением. Иными словами, едва ли ни главный источник нынешней делегитимации президентской власти заключается в том, что в России не было завершено функциональное разделение властей, без которого демократическая легитимация не может укорениться сколько-нибудь глубоко. С одной стороны, существует юридически закреплённая моносубъектность власти на федеральном уровне - не в том смысле, что других политических субъектов вообще нет, а в том, что по объёму своих полномочий один из субъектов высоко вознесен над всеми остальными.⁴ С другой же стороны, интенция моносубъектности, заложенная в политическую систему, не может быть реализована, юридическое оформление власти не может закрепиться в реальной практике ее функционирования.

В результате закономерно возникает такое положение вещей, когда президент вынужден лавировать между влиятельными группами интересов (финансово-промышленных, региональных, аппаратно-чиновных и др.), приближать их к себе или от себя отдалять, поддерживать или лишать поддержки, гасить возникающие между ними конфликты или, наоборот, поощрять их, - проще говоря, компенсировать слабость своей легитимации арбитражными функциями на элитном уровне. Но при этом государственная власть неизбежно утрачивает способность не только реализовывать государственный интерес как нечто отличное от интересов частных и груп-

4 Насколько мне известно, термин “моносубъектность” впервые был введен Ю. Пивоваровым для характеристики русской власти в том виде, в каком она начала складываться после татарского нашествия и под его непосредственным влиянием (см.: Пивоваров Ю. Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX - первой половины XX столетия. М., 1997. С.144). Строго говоря, после краха коммунистического режима этот термин утратил свою адекватность российской политической системе, и я использую его (с соответствующими оговорками) лишь для того, чтобы включить нынешнюю российскую власть в национальный историко-политический контекст, вне которого ее специфические особенности пришлось бы объяснять исключительно ситуативными и личностными факторами.

повых, но даже ясно его осознавать и внятно артикулировать. Решающим условием самосохранения самой власти становится ее попустительство по отношению к правовому произволу в ее собственных рядах и сращиваемых с ней криминальных структурах, что ведет, в свою очередь, не к уменьшению, а к увеличению традиционного для России разрыва между властью и обществом, блокируя тем самым его превращение в гражданское.

Таким образом, противоречие между способом функционирования власти и способом ее легитимации, изначально обусловленное ее моносубъектностью, в процессе самого функционирования может только углубляться. Это приводит к тому, что дискредитируется не только сама власть, но и демократическая процедура ее формирования. В итоге же государственная политика становится политикой ситуативного реагирования и перманентной стабилизации того, что стабилизировать нельзя; она утрачивает исторический вектор, причем, именно в такой период, когда безвекторность грозит самыми катастрофическими последствиями.⁵

5 Если рассматривать российскую политическую систему под этим углом зрения, т.е. не с точки зрения юридических полномочий отдельных властных институтов, а с точки зрения их реального функционирования, то, как справедливо отмечалось в уже упомянутом докладе экспертов из фонда "Реформа", суперпрезидентская республика в ее постсоветском российском воплощении ведет, в конечном счете, к *бессубъектности* государства, к утрате им возможности осуществлять инициативную политику. Но сама эта утрата фактической субъектности в условиях юридической моносубъектности не может быть удовлетворительно объяснена, если анализировать только практику функционирования власти, абстрагируясь от способа ее легитимации.

Хотели того авторы или нет, но у них получается, что отмеченная ими реальная бессубъектность государства при наличии у высшего должностного лица огромных полномочий объясняется самим фактом этих полномочий. Но почему они все же не могут быть реализованы в инициативной политике? И что дает основания утверждать, что при перераспределении полномочий в пользу других ветвей власти субъектность государства может быть восстановлена?

В моей же логике размывание субъектности объясняется тем, что юридическая моносубъектность президента, уходящая корнями в российскую традицию властвования, обессиливается ее неразрешимым конфликтом с тем способом, которым эта моносубъектность себя легитимизирует. Поэтому и постановка вопроса о перераспределении властных полномочий имеет смысл лишь в контексте поиска оптимальных способов легитимации власти, адекватных историческому состоянию современной России. Прогнозы и проекты, абстрагирующиеся от этой ключевой проблемы, неизбежно становятся произвольными, внеконтекстными, утрачивающими контакт с реальностью.

Так, авторы данной работы (в своей логике, повторяю, весьма содержательной) как один из возможных вариантов трансформации российской политической системы рассматривают "изменение реальных полномочий института президента через повышение его ответственности перед другими властными институтами (например, президент, имеющий право формировать правительство, не ответственное перед парламентом, не должен обладать правом роспуска парламента)". Трудно понять, каким образом подобные изменения могут вернуть российской государственности утраченную субъектность. Ведь при практической реализации такого ("американского") варианта в совре-

Между тем среди отечественных и зарубежных экспертов существует (по крайней мере существовала до 17 августа) точка зрения, согласно которой нынешняя российская политическая система, являясь переходной, более или менее оптимальна, что она позволяет обеспечивать рыночную трансформацию и сохраняет демократический вектор развития. Эта точка зрения обосновывается обычно тем, что ни в одной стране демократия быстро не укоренялась и моментально устойчивой не становилась и что Россия, учитывая ее самодержавно-тоталитарные традиции, за короткий срок на удивление далеко продвинулась по пути демократизации. Однако главный вопрос сегодня - это вовсе не вопрос о темпах развития. Вопрос в другом: может ли нынешняя политическая система обеспечить устойчивую легитимацию власти и ее функциональную дееспособность в решении задач именно *переходного* периода? И, что самое существенное, способна ли она обеспечивать дальнейшее развитие в направлении демократии или может лишь блокировать его, сохранила она свой демократический потенциал или исчерпала?

Дело вовсе не в том, что организация власти, подобная нынешней российской, в принципе не может быть эффективной. Аналогичные политические системы существовали и существуют, и, при всех своих недостатках, порождающих процессы, сходные с нынешними российскими, они вполне совместимы с относительно успешным (по крайней мере в краткосрочном плане) функционированием власти и ее легитимацией. Достаточно сослаться на суперпрезидентские системы в некоторых странах Латинской Америки (в Аргентине и Перу они функционируют до сих пор), при которых почти вся полнота власти тоже сосредоточена в руках всенародно из-

менной России с ее находящейся в глубоком кризисе экономикой, недостроенной государственностью и рыхлой партийной структурой произойдет не разделение власти и ответственности, а перераспределение властных полномочий в пользу одного из институтов (парламента) при увеличении ответственности другого (президента), бремя которой для него и без того непосильно. Между тем ответственность парламента не только не возрастет, но и уменьшится. Таким образом, это было бы движением не вперед, а назад, к временам конфронтационного двоевластия президента и верховного совета в условиях, когда у президента, кто бы им ни был, не может быть того политического капитала и тех ресурсов легитимности, которыми обладал Ельцин в 1991-1993 гг. С другой стороны, это было бы воспроизведением худшего, что есть в перенявших американскую президентскую систему латиноамериканских странах, а именно - дестабилизирующего разрыва между законодательной и исполнительной властью.

Вряд ли продумываются все последствия и в том случае, когда американская модель предлагается в трансформированном виде (президент является главой государства и исполнительной власти, но при этом *наделяется* правом роспуска парламента). Вопрос об устойчивой легитимации верховной власти при таком варианте не только не решается, но опять-таки лишь усугубляется. Я уже не говорю о том, что такой вариант не может быть принят большинством российского политического класса, а может быть только навязан ему подобно тому, как это произошло в 1993 году.

бираемого главы государства. Своеобразие сегодняшней России не в том, что сложившаяся в ней организация власти не имеет аналогов в опыте мировых рыночно-демократических трансформаций, а в том, что сами эти аналоги не соответствуют ее особенностям, унаследованным от давнего и недавнего прошлого. Это накладывает свой отпечаток и на характер проблем, с которыми сталкивается российская власть, и на само ее институциональное устройство, которое в ряде немаловажных моментов существенно отличается от устройства типологически близких к ней современных политических систем.

МЕЖДУ ДВУМЯ ПАРАДИГМАМИ

(СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ МОДЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ)

Слабость и неэффективность суперпрезидентской (моносубъектной) выборной модели помимо общих причин, обуславливающих ее критику со стороны некоторых исследователей (Х. Линц, А. Валенсуэла и др.), в современной России определяются рядом дополнительных факторов. Перечислю лишь некоторые из них, которые представляются наиболее существенными.

1. Моносубъектность власти в относительно эффективных суперпрезидентских системах опирается на сильные армии с высокооплачиваемым и высокостатусным офицерским корпусом. Российская армия, находящаяся в состоянии полураспада, такую роль играть сегодня не в состоянии. В значительной степени это обусловлено тем, что социально-экономические и политические преобразования в России предполагают демонтаж предельно милитаризированной советской системы, которая как раз и базировалась на существовании огромной по численности армии и особой роли военно-промышленного комплекса в хозяйственной жизни, где интересы этого комплекса были приоритетными. К началу 80-х годов стало очевидным, что для сохранения такой системы и наращивания ее мощи (продолжения гонки вооружений) у страны нет ресурсов. Однако логика демилитаризации, тоже требующей значительных затрат (и тоже для сегодняшней России непосильных) ведет к тому, что государственность лишается важнейшей из силовых опор, роль которой в консолидации российской власти и российского общества всегда была одной из ключевых.⁶

6 Особенно заметно эта роль армии проявилась в советскую эпоху. В периоды борьбы различных группировок в высшем эшелоне партийного руководства поддержка армии в лице министра обороны оказывалась решающей для победы одной из сторон и последующей консолидации власти. Так, Н. Хрущев утвердился в качестве лидера благодаря поддержке маршала Г. Жукова и потерял свой пост в результате того, что министр обороны Р. Малиновский согласился на отстранение его от власти. В отставку М. Горбачева немалый вклад внес маршал Е. Шапошников, поддержавший Ельцина во время заключения Беловежских соглашений и ликвидации СССР. В той же логике действо-

Положение усугубляется тем, что Россия, в отличие, скажем, от послевоенных Германии или Японии, вступила в период рыночно-демократических трансформаций, оставаясь ядерной державой, не испытавшей военного поражения, которое является сильнодействующим мобилизующим фактором при смене милитаристской парадигмы на парадигму экономической эффективности. Отсюда - уникальность российского демократического транзита, не имеющего аналогов в практике современных общественных трансформаций.

Если в других странах он имеет целью обретение ими *нового* статуса (освобождение от внешнего диктата, преодоление экономической отсталости, вхождение в мировое демократическое сообщество и др.), то в России одновременно речь идет и о максимально возможном сохранении статуса *прежнего* (военно-державного). Трудно представить себе российскую власть, которая сегодня могла бы позволить себе с этим не считаться. Но этим же обусловлена в значительной степени и специфическая природа переживаемого страной системного кризиса и происходящих в ней процессов - не только экономических, но и политических.

Власть, пытающаяся без видимых удач (но при видимых неудачах) осуществить трансформацию цивилизационной парадигмы, сталкивается в России с оппозицией со стороны значительной части политического класса, ставящей ей в вину не только падение жизненного уровня населения, но и девальвацию традиционного для страны державного статуса. Вынужденная считаться как с одним, так и с другим обвинением, власть (прежде всего в лице президента) оказывается перед необходимостью совмещать изначально легитимировавшую ее новую парадигму (переход к рыночной экономике западного типа) с сохранением парадигмы прежней (державной), традиционно предполагавшей противостояние Западу и военно-стратегическую конкуренцию с ним. Но такое совмещение - в силу трудностей его реализации - как раз и оказывается фактором, обуславливающим перманентную делегитимацию власти.

Это связано вовсе не с тем, что население сохраняет приверженность державным амбициям. Наоборот, у большинства россиян они сегодня отсутствуют, что обусловлено укоренившимся в последние десятилетия представлением о том, что военной угрозы для страны в современных условиях

вал Ельцин и в решающий момент борьбы с верховным советом, когда на следующий день после оглашения указа о его роспуске демонстративно появился на одной из центральных улиц Москвы в сопровождении министра обороны П. Грачева. Однако те же события 1993 г. показали, что в кризисной ситуации постсоветская армия, в отличие от советской, может оказаться расколотой и слабоуправляемой. Это связано как с появлением в России конкурентной публичной политики, так и с процессами распада, происходящими в самой армии. Сегодня можно констатировать, что роль символа и главного гаранта тоталитарного порядка российская армия утратила, а новой роли, соответствующей демократическому обществу, еще не обрела.

не существует.⁷ Однако в ситуации, когда разрушение державного статуса происходит *одновременно* с падением жизненного уровня и увеличивающимся дефицитом порядка, в массовом сознании, парализуемом тотальностью негативных процессов, происходит размывание образа будущего, которое сопровождается или кризисом идентификации, или компенсирующей идеализацией образа прошлого. При таком положении вещей утрата бывшего державного величия даже при отсутствии державных амбиций тоже становится делегитимирующим власть фактором.

2. Для суперпрезидентских систем характерен харизматический тип легитимации власти, которая (легитимация) обеспечивается благодаря популизму харизматических лидеров. Потенциал популизма может сохраняться при наличии определенных успехов на путях трансформации и упорядочивания жизни, но при их отсутствии он обычно быстро иссякает, что ведет (в зависимости от состояния общества и политического класса) или к его перетеканию к другому лидеру, или к трансформации политической системы. В постсоветской России этот потенциал исчерпан в результате того, что многочисленные популистские обещания не были выполнены даже частично, а трудности, переживаемые страной, не только не преодолеваются, но и усугубляются. Речь идет не только об исчерпанности популистского потенциала лично Ельцина, а о том, что на данный момент он в значительной степени исчерпан вообще: среди широких слоев населения, познавшего опыт надежд и разочарований последних лет, выработался иммунитет против популистской риторики как таковой, причем именно потому, что ее популистская природа оказалась массовым сознанием распознанной.

Косвенным подтверждением этого может служить то, что основные претенденты на пост президента России, даже если они проявляют неприемлемость в критике действующего президента, отличаются умеренностью своей позитивной риторики и ведут между собой борьбу за право называться "центристами". Между тем центризм и харизматическая легитимация плохо сочетаются друг с другом, что создает сложные проблемы для политического самоутверждения на общенациональном уровне лидеров харизматического толка типа генерала А. Лебедева. Отсюда же и возросший запрос на респектабельных и компромиссных политиков вроде Примакова, феномен которого в контексте эволюции российской политической системы будет рассмотрен особо. Это однако вовсе не означает, что деятель такого типа, став президентом, сможет обеспечить легитимность верховной власти на весь срок своих полномочий.

7 По данным одного из всероссийских опросов населения, проведенного в мае 1996 г. в рамках проекта "Особый путь России" (проект был разработан и реализован автором совместно с Т. Кутковец), лишь 18 процентов россиян считают, что сегодня существует военная угроза России со стороны других государств. Характерно при этом, что далеко не все среди них идентифицируют эту угрозу с Западом, т.е. со странами, входящими в НАТО.

Спрос на умеренность и респектабельность вызван тем, что политический класс начал усматривать в конфронтационных отношениях между ветвями власти угрозу обвала государственности, а общество все больше осознает такого рода отношения как проявление безвластия. Но спрос на таких политиков будет поддерживаться только в том случае, если им удастся обеспечить эффективное и результативное функционирование государственных институтов. При сохранении нынешней политической системы это выглядит весьма проблематично, ибо любых, даже самых умеренных, деятелей она или провоцирует на конфронтационность, или обрекает на бездеятельность. И пока она существует, сохраняется вероятность того, что мода на центристов сменится запросом на новый популизм (гораздо более радикальный, чем его прежние разновидности) и, соответственно, на харизматических политиков последовательно авторитарного толка.

3. Тот факт, что российская президентская моносубъектность на федеральном уровне утверждалась в период резкого отталкивания от прежнего способа легитимации и обретения этой легитимацией выборной формы, одним из своих следствий имел возникновение таких взаимоотношений между центром и регионами, которые саму эту моносубъектность в масштабе России сделали в значительной степени символической. Отталкивание от советского типа легитимации проявилось в фетишизации выборов, в признании легитимной на *любом уровне* только такой власти, которая избрана населением, а не назначена из центра независимо от способа легитимации самого центра. Это стало еще одной причиной - наряду с выявившейся нефункциональностью парламентаризированных советов - утверждения института избираемых президентов (в национальных республиках) и губернаторов (в российских краях и областях).

Существенную роль в данном отношении сыграло и стремление Ельцина в пору его борьбы с союзным центром и в период последовавшей затем конфронтации с верховным советом заручиться поддержкой российских национальных республик, в которых демонтаж СССР вызвал рост сепаратистских настроений, что наглядно продемонстрировал прошедший уже в 1992 г. референдум в Татарстане о суверенитете этой республики. Вместе с тем, соглашаясь на выборную процедуру формирования власти в регионах, Ельцин и его окружение рассчитывали, что таким образом удастся перераспределить ответственность между центром и регионами в переживаемый страной нелегкий период одновременного реформирования экономики и строительства новой государственности, т.е. переместить эту ответственность в регионы и упрочить легитимацию центральной власти приданием ей арбитражных функций благодаря сохранявшемуся за ней монопольному праву распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Таким образом, моносубъектность власти в центре, ее слабая функциональная расчлененность на федеральном уровне были оплачены глубо-

ким разделением власти между центром и регионами, что характерно лишь для стран с давними и устойчивыми демократически-правовыми традициями. В России же, где такие традиции отсутствуют, подобная система довольно быстро обнаружила свою искусственность. Коммунистический федерализм, бывший особой формой унитарной государственности, трансформировался в не менее своеобразную политическую систему: федеральный центр выступает в ней не как носитель общегосударственной воли, а как отдельный от регионов субъект, воплощающий остаточную унитарную государственность и вступающий в *договорные* отношения конфедеративного типа с полугосударственными региональными образованиями, значительная часть которых сформирована по национальному принципу.

В результате сложилось такое положение вещей, когда региональные власти сплошь и рядом выходят за пределы конституционного поля, а у наделенного огромными полномочиями президента нет властных ресурсов и механизмов, чтобы этому воспрепятствовать. Если в советские и досоветские времена неукорененность правовых традиций хотя бы частично компенсировалась административным и политическим весом сакрализованной центральной власти и ее институтами (в том числе и силовыми), то постсоветская государственность такими компенсаторами не располагает. За президентом, который ее олицетворяет, не стоит сильная и высокостатусная армия, правоохранительные органы сами коррумпированы, равно как и огромный чиновничий аппарат. Президентская монособъектность, призванная быть гарантом конституции и обеспечивать ее соблюдение, оказывается не в состоянии это сделать, выявляя тем самым суррогатность постсоветской политической системы и постсоветской государственности как таковой.

Не оправдались и расчеты на то, что выборность местных властей позволит переместить центр политической ответственности в регионы. Наоборот, это привело к усилению критики центра со стороны региональных лидеров, которые и приходят к власти во многом благодаря такой критике. Говоря иначе, их выборность не только не укрепила легитимность президента, но и способствовала ее ослаблению, и вовсе не случайно, что почти половина членов совета федерации, формируемого, по действующей конституции, из региональных руководителей, после обвала 17 августа и октябрьских акций протеста поддержала требования об отставке Ельцина.

Из сказанного следует, что делегитимация высшей федеральной власти в современной России обусловлена, помимо прочего, сложившимися в стране специфическими отношениями между центром и регионами, блокирующими реализацию общегосударственных интересов. Ведь если региональные лидеры могут безнаказанно нарушать федеральную конституцию, то это значит, что их реальная легитимность *выше*, чем легитимность федерального центра, персонифицированного в фигуре президента. Это - еще один довод в пользу того, что отождествление российской политической системы с другими суперпрезидентскими системами недостаточно корректно.

4. Максимизация полномочий высшего должностного лица сопровождается в России не только максимизацией ответственности этого лица в условиях кризиса, что ведет к делегитимации его власти, но и максимизацией безответственности почти всего политического класса, консолидирующегося против утратившего популярность лидера. Аналогичные процессы имеют место и в латиноамериканских странах с президентскими системами. Однако в России, начавшей демократизацию практически с нуля в условиях распада многовековой государственности, оставившей после себя глубокую имперско-державную традицию, и при полном отсутствии партийной системы, этот процесс тоже приобрел индивидуальное качество. И опять-таки было бы неверно трактовать данное явление как сугубо ситуативное, связанное с конкретной фигурой Ельцина.

Учитывая отмеченные выше трудности реформирования российской экономики и российских общественно-политических отношений, трудности смены милитаристской парадигмы на экономическую (производительно-потребительскую) при одновременном сохранении державного статуса, ни один российский лидер, став главой государства, не будет в состоянии завоевать устойчивую поддержку населения. А это значит, что и он, подобно Ельцину, может быстро получить оппозицию со стороны большинства политического класса, которая при сохранении нынешней политической системы вновь окажется безответственной. Потому что в ситуации, когда существуют политические свободы и парламентские институты, лишенные права формировать исполнительную власть, их политическая безответственность провоцируется институционально, т.е. самим устройством политической системы.

Предоставленное государственной думе право утверждать премьер-министра при наличии у президента права роспуска парламента (в латиноамериканских президентских системах, заимствовавших американскую модель, нет, как правило, ни того, ни другого) не только не способствует преодолению этой безответственности, но и усугубляет ее двусмысленностью положения, в котором парламент оказывается. Находясь перед перспективой быть распущенным после трех отказов утвердить предложенную президентом кандидатуру премьера, он получает возможность компенсировать свою слабость тем, что дистанцируется от ответственности за деятельность им же утвержденногo руководителя правительства. В результате и весь политический процесс приобретает черты двусмысленности, когда безответственность может быть связана не только с отсутствием права принимать политические решения, но и с использованием этого права при его наличии.

Такое положение вещей имеет самое непосредственное отношение к противоречию между традиционным способом функционирования российской власти и нетрадиционным способом ее легитимации. В российской традиции высшее лицо властной иерархии - будь-то император или генеральный секретарь - имело возможность назначать или оказывать решаю-

щее влияние на назначение главы исполнительной власти, не неся непосредственной ответственности за его деятельность и будучи гарантированно защищенным от публичной критики. Ельцин, получив возможность навязать другим политическим субъектам конституционные правила игры (еще одна российская особенность!), попытался приспособить эту модель к условиям выборной легитимации, рассчитывая сделать руководителя правительства одновременно и полностью зависимым от президента, и снимающим с последнего ответственность за состояние экономики. Аналогичный принцип закладывался и в отношении президента с государственной думой: она должна была, по замыслу, брать на себя ответственность за утверждаемую ею кандидатуру премьера, но не должна была иметь права выбора кандидата и влиять на персональный состав кабинета. Но все это и привело в итоге к той двусмысленности и институциональной безответственности, о которых говорилось выше и которых нет в других странах с суперпрезидентскими системами, наделяющими главу государства не только огромными полномочиями, но и возлагающими на него всю полноту ответственности за деятельность им же и олицетворяемой исполнительной власти.

Положение усугубляется еще и тем, что отстранение нижней палаты российского парламента от формирования правительства находится в явном противоречии с российским выборным законодательством, согласно которому половина состава этой палаты избирается по партийным спискам.⁸ В результате за границы политической ответственности выводятся не только отдельные депутаты, но и наиболее влиятельные политические партии, что блокирует укрепление российской партийной системы как фактора строительства национальной государственности и формирования гражданского общества. Противоречие это не является самобытным российским феноменом; в том или ином виде оно характерно для большинства президентских систем в модернизирующихся обществах. Но в российских условиях оно инкорпорируется в общий контекст двусмысленности политического процесса, в присущие последнему специфические формы конфликта традиционно-державного и современного начал, что резко усиливает вербально-имитационную составляющую российской политики и девальвирует реалистическую.

Уже одно то, что основная линия размежевания в политическом классе проходит сегодня между демократами, приверженными парадигме экономической эффективности, и патриотами, акцентирующими внимание

8 "Вопрос о соотношении конституционной роли и принципов формирования парламента (проще говоря, зачем нужны выборы по партийным спискам в ситуации, когда парламент не влияет на формирование правительства) ни в теоретическом, ни в прикладном плане не поставлен и по сей день", - резонно замечает по этому поводу В. Гельман (см.: Гельман В.Я. Создавая правила игры: российское избирательное законодательство переходного периода // Политические исследования. 1997. №4. С.132).

на сохранении и преумножении державной традиции, весьма симптоматично. В других странах с суперпрезидентскими системами, где, в отличие от России, наследие имперско-державного прошлого не сказывается, ничего похожего не наблюдается.

Я уже говорил о том, что Россия, пока она существует как ядерная держава, обречена на поиск оптимальной меры, позволяющей сочетать обе парадигмы. Однако в сложившейся ситуации, когда вся полнота государственной ответственности ложится на президента, а другие институты от нее отключены, президент оказывается единственным политиком, который в поиске такой меры функционально заинтересован. Иными словами, только он один может быть одновременно и реформатором-западником, и патриотом-державником. Но реально и он не может тоже. Потому что при существующем распределении власти и ответственности все остальные политические игроки имеют возможность самоутверждаться исключительно в сфере политической и идеологической риторики, акцентируя свою приверженность одной из двух парадигм или декларируя (благо это ни к чему не обязывает) необходимость их совмещения и обвиняя власть, что бы та ни делала, в том, что в данном отношении она не делает ничего.

Противостояние демократов и патриотов и является сугубо демонстрационным, лишенным какого-либо конкретного экономического и политического содержания. Ведь патриоты только потому и могут апеллировать к идее державности, что имеют возможность, не отвечая за формирование исполнительной власти и ее деятельность, обходить вопрос о том, что и как нужно делать и где взять средства, чтобы одновременно и жизненный уровень населения повысить, и бывшее державное могущество возродить. Только поэтому, в частности, могли они во имя демонстрационного патриотического эффекта в течение нескольких лет блокировать ратификацию договора СНВ-2, в стратегическом плане для России безусловно выгодного. В свою очередь, демократы, даже будучи привлеченными для работы в правительстве, но не как представители влиятельной и ответственной политической силы, а индивидуально, могут позволить себе вообще игнорировать проблемы военно-промышленного комплекса в ядерной стране и рассматривать их лишь под углом зрения политических интересов патриотов-державников, мечтающих о возврате к советскому милитаризму.

В этом противостоянии, как ни в чем, быть может, другом, проявляется незавершенность общедемократического этапа общественных преобразований в России, которая на институциональном уровне едва ли ни наиболее наглядно обнаруживает себя в функциональной нерасчлененности и несбалансированности российской политической системы.

Этим же объясняется и своеобразный тип существующих в России политических организаций (партий и движений). Сами названия многих из них ("Наш дом - Россия", "Яблоко", "Отечество", "Вперед, Россия!", "Россия молодая" "Общее дело", "Правое дело", "Новая сила", "Держава", "На-

родно-патриотический союз России" и т.п.) свидетельствует о стремлении избежать определенности, четкой фиксации своего политического и идеологического лица, которая подменяется абсолютно бессодержательным, учитывая основополагающее противостояние демократов и патриотов, самозачислением себя в ряды правых или левых, а чаще всего - центристов (тоже правых или левых). Это бессодержательно уже потому, что самой главной левой силой оказывается в результате российская коммунистическая партия, стоящая на традиционалистских (т.е. правых) позициях. Но такая самоидентификация политически удобна, так как позволяет соединять в риторике державный традиционализм и левую установку на государственно-перераспределительную социальную политику, не объясняя, как одно может сочетаться с другим в условиях современной России.

Все это и есть уход от ответственности, который, повторю еще раз, в значительной степени стимулируется сложившейся в России политической системой, способствующей консервации искусственного, среди широких слоев населения глубоких корней не имеющего, расчленения политического класса на демократов и патриотов с бесчисленным множеством камуфляжных оттенков тех и других. Поэтому и становятся возможными такие противоестественные и парадоксальные гибриды, когда те же коммунисты в лице КПРФ объявляют себя одновременно наследниками Сталина, русских царей и традиций православной духовности, а державно-националистическая партия В. Жириновского предпочитает официально именоваться либерально-демократической.

Президент же при таком положении вещей должен стремиться быть беспартийным, стоящим над схваткой (чтобы иметь свободу прагматической игры на всем реформаторско-державном политическом поле) и - одновременно - лидером символической, никак не фиксируемой и постоянно меняющейся по своему составу "партии власти". Можно достаточно уверенно прогнозировать, что при сохранении нынешней системы, концентрирующей власть и ответственность в одних руках, к тому же будет стремиться и будущий президент, даже если на выборы он, в отличие от Ельцина, пойдет как лидер собственной партии.

При таком положении, как показала история выдвижения и утверждения Примакова, и глава правительства желателен для всех беспартийный и надпартийный, одинаково свободно владеющий языком реформаторов-западников и языком патриотов и способный балансировать между различными политическими группировками, не идентифицируя себя ни с одной из них. Тем самым все они могут сохранять комфортное положение вне пространства реальной политической ответственности и в любой момент отмежеваться от главы правительства, которое они поддерживали и даже делегировали в него отдельных представителей своих фракций.

В целом же эта ситуация свидетельствует не о наличии определенного вектора политического развития (и развития вообще), а о стагнирующем проживании между прошлым, от которого страна вознамерилась уйти, и

будущим, образ которого она утратила и к которому перестала продвигаться. Россия сегодня не переходит от одной парадигмы к другой и не совмещает их; можно сказать, что она между ними застряла. Поэтому и нет никаких оснований считать российскую политическую систему системой переходного периода, а можно говорить лишь о ее сполна выявившейся неадаптивности к решению проблем этого периода.

Особенности российской политической системы, обусловленные перечисленными причинами, свидетельствуют о ее своеобразии и несводимости к каким-либо историческим и современным аналогам. С этим связаны трудности, возникающие при ее понятийном определении. Такое определение должно фиксировать, с одной стороны, ее неадекватность стоящим перед ней задачам общественной трансформации, а с другой - присущие ей (и внутри нее неразрешимые) противоречия, обусловленные рассогласованностью входящих в нее традиционных для российской власти элементов с элементами, эту традиционность отрицающими.

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ

Как уже отмечалось, основное противоречие российской политической системы связано с тем, что способ функционирования верховной власти, вытекающий из предоставленных ей конституционных полномочий, несовместим со способом ее формирования и, соответственно, легитимации. По своим юридическим полномочиям она моносубъектная, а по способу легитимации - выборная, действующая при наличии парламентских институтов и легализованной оппозиции. В силу обозначенных выше факторов, характеризующих специфические особенности России, эти противоречия делают российское суперпрезидентство функционально недееспособным, так как его легитимация в нынешнем его виде не может быть устойчивой. Поэтому представляется недостаточно корректным использовать для его характеристики термины, утвердившиеся в мировой транзитологии для понятийной фиксации систем и режимов с относительно прочной (пусть только в краткосрочном плане) легитимностью. В лучшем случае они могут быть приемлемы для включения российского транзита в широкий спектр сходных явлений, но индивидуальное своеобразие этого транзита они передать не в состоянии.

Между тем такой перенос понятий, выработанных при анализе принципиально иной, по сравнению с российской, политической практики, достаточно распространен среди экспертов. Некоторые из них считают, в частности, что к российской политической системе вполне приложимо понятие "*демократура*".⁹ Предполагается, что такая система формируется и леги-

9 Этот термин, введенный в оборот Ф. Шмиттером и Т. Карл, применительно к российской политической практике используется, например, А. Мельвилем (см.: Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Политические исследования. 1998. №2. С.28).

тимизируется как выборная, а функционирует в значительной степени как авторитарно-диктаторская, блокируя участие общества в политике, ее либерализацию и, в лучшем случае, допуская ограниченную политическую конкуренцию (в том числе и за голоса избирателей) на элитном уровне. Безусловно, в какой-то мере этот термин фиксирует отмеченную противоречивость российской организации власти. Но, во-первых, он нейтрален по отношению к слабости ее легитимации (демократура может обладать и сильной легитимностью). Во-вторых, данный термин, включая российский транзит в широкий спектр сходных процессов и ставя Россию в один ряд с такими странами, как, скажем, Гватемала и Сальвадор 80-х годов, уже поэтому не может претендовать на фиксацию оригинального содержания этого транзита.¹⁰

Не вполне соответствует своеобразие современной российской реальности и понятие *“делегативной демократии”* (delegative democracy),¹¹ введенное Г. О’Доннеллом и тоже нередко используемое российскими аналитиками для характеристики ельцинского суперпрезидентства. В нем акцентируется демократический (выборный) способ легитимации власти главы государства при делегировании последнему всех властных полномочий, которыми он волен пользоваться по своему усмотрению; будучи неподконтрольным гражданскому обществу и его институтам в условиях, когда эти институты еще находятся в неразвитом состоянии, он может игнорировать их недовольство и даже прямую - с их стороны - публичную критику.

Однако способ функционирования власти в этом понятии не фиксируется, а только предполагается; термин *“делегативная”* сам по себе содержание данного способа не передает по той простой причине, что делегирование полномочий составляет отличительную особенность любых демократических систем, включая самые развитые. Поэтому О’Доннелл вынужден сопровождать свое определение подробным описанием этого способа (президент стоит над партиями, с парламентом и судебной властью не счи-

10 В силу указанных причин трудно признать адекватными и попытки охарактеризовать российскую организацию власти посредством сочетания терминов *“демократия”* и *“авторитаризм”*, будь то *“авторитарная демократия”* (термин, введенный Р. Саквой и используемый некоторыми российскими аналитиками) или, как у Г. Дилигенского, *“демократически избираемая и сменяемая авторитарная власть”* (см.: Дилигенский Г. Политическая институционализация в России: социально-культурные и психологические аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 1997. №7. С.6). И дело не только в том, что, как справедливо отмечают некоторые критики подобных понятийных образований, авторитарность предполагает упорядоченность, обуздание анархии и достаточно высокую степень управляемости, чего в современной России не наблюдается (см.: Вайнштейн Г. Между полной несвободой и полным хаосом // Pro et Contra. 1998. № 3-3, С.48). Дело в том, что неупорядоченность и неуправляемость сами являются следствием того, что выборно-демократические процедуры не стали фактором, обеспечивающим легитимность российской власти.

11 G. O'Donnell, *“Delegative Democracy,”* *Journal of Democracy* 5:1 (1994), pp.55-69.

тается, всю политику концентрирует в своих руках, от других политических институтов самоизолируется и т.п.), которое непосредственно из самого определения не вытекает. С другой стороны, автор пытается провести содержательный водораздел между делегативной демократией и демократией представительной. Попытку вряд ли можно считать успешной: делегативная демократия тоже является разновидностью представительной, и сопоставление родового понятия с видовым свидетельствует лишь о трудностях, с которыми столкнулся автор, а не о том, что ему удалось с ними справиться.

Но меня в данном случае интересуют не столько достоинства и недостатки этого термина, сколько его соответствие современным российским политическим реальностям. Думаю, что для понимания присущего российской политической системе конфликта разнонаправленных парадигм он мало что дает. Им не схватываются ни конкретное содержание российской традиции властвования, придающей этому конфликту специфическую индивидуальную окраску, ни своеобразие становления и функционирования нынешнего российского политического режима.

В том-то все и дело, что “делегативная демократия” фиксирует не столько *противоречие* между способом легитимации и способом функционирования власти, сколько их своеобразную *органику* (пусть и не обязательно долговременную). Ведь у О’Доннелла речь идет о таком способе легитимации власти, который эту легитимацию реально *обеспечивает*, что и позволяет носителю власти функционировать так, как он функционирует, не обращая внимания на другие институты. Между тем по отношению к посткоммунистической России утверждать это было бы по меньшей мере опрометчиво.

В лучшем случае, применительно к ней можно говорить о делегативной демократии в 1991-1993 гг., да и то при абстрагировании от двух немало важных фактов. Во-первых, Ельцин был избран президентом еще тогда, когда Российская Федерация входила в состав СССР и самостоятельным государством не являлась, а потому полномочия были делегированы ему прежде всего для борьбы со старой, стоящей над ним, властью. Во-вторых, когда Советский Союз распался, Ельцин снова вынужден был вести борьбу за власть, на этот раз - с юридически полновластным съездом народных депутатов, с которым должен был считаться (описанию О’Доннелла такое поведение явно не соответствует).

Что касается последующего периода, то российская политическая реальность поначалу в чем-то приблизилась к смыслу данного термина (прежде всего в характере функционирования президентской власти), а в чем-то (я имею в виду истощенность ею своих легитимационных ресурсов) почти сразу стала стремительно от него отдаляться. И если Ельцин в этот период меньше, чем в предыдущий, считался с другими институтами, то не потому, что за ним была сила делегированных ему полномочий, а потому, не в последнюю очередь, что эти полномочия он приобрел *силой*, осуществив антиконституционный переворот и навязав побежденной оппозиции но-

вые правила игры. Но именно с того момента уровень его легитимации стал падать, и даже выигранные им выборы 1996 г. почти ничего в данном отношении не изменили. В режиме делегативной демократии (в том смысле, в каком ее понимает О'Доннелл) Ельцин функционировать уже не мог. Ведь если делегативная демократия, как разъясняет сам автор этого термина, предполагает превращение избирателей после выборов в "пассивных, но полных одобрения наблюдателей действий президента",¹² то подобного восприятия личности и поведения Ельцина в России нет по крайней мере со времен вооруженного штурма здания верховного совета.¹³

Поэтому, строго говоря, в посткоммунистической России делегативной демократии не было вообще: когда Ельцин имел достаточный политический капитал, он не обладал соответствующими юридическими полномочиями, а когда получил полномочия, капитал был уже в значительной степени растрочен в борьбе за полномочия. Разумеется, и делегативные президенты, как их называет О'Доннелл, свой легитимационный ресурс сохраняют, как правило, недолго, ибо, как и в российском варианте, огромные полномочия "возлагают на президента бремя непосильной ответственности". Однако они, в отличие от Ельцина, начинают расходовать его, получив всю полноту власти, а не тогда, когда еще только борются за ее приобретение. Российская политическая система возникла в результате остро-конфликтного многоэтапного демонтажа коммунистического режима и распада советской империи, что и предопределило во многом ее своеобразие и ее невписываемость в большие и малые совокупности других систем, даже если системы эти чем-то (и даже многим) на нее похожи.

12 Ibid., p.60.

13 На это несовпадение некоторых описываемых О'Доннеллом аспектов делегативной демократии с постсоветской российской политической практикой обращает внимание и Г. Вайнштейн (см.: Указ. соч. С.50). Этот автор - один из немногих, кто критически относится и к другим упомянутым выше понятийным конструкциям из арсенала современной транзитологии, сомневаясь в их адекватности российскому политическому опыту и его своеобразию. Однако предлагаемый им в качестве альтернативы собственный термин ("*избыточная демократия*") кажется мне еще менее содержательным. Если бы автор имел в виду, что для России избыточны, скажем, выборы руководителей регионов, то тогда по крайней мере был бы предмет для обсуждения. Но он имеет в виду другое, а именно, что демократия в России сопровождается ослаблением государственности, ростом безответственности и неуправляемости. Это тоже можно было бы обсуждать, если бы автор объяснил, в чем конкретно видит он избыточность демократии, как эта избыточность связана с отмеченными им негативными явлениями и каким образом избыток демократии может быть устранен. Однако никаких разъяснений на сей счет мы не находим, и потому реальный смысл терминологического новшества остается неясным. Похоже, под избытком демократии автор подразумевает избыточные *последствия* российской демократизации, но это, во-первых, не одно и то же, а во-вторых, безответственность, неуправляемость и другие деструктивные явления обусловлены, как я выше пытался показать, не избыточностью, а, наоборот, недостаточностью российской демократии, в частности, ее институциональной нестроенностью.

Автор статьи отдает себе полный отчет в том, что содержание любых переходных, промежуточных политических систем и режимов чрезвычайно трудно и даже невозможно уложить в какие-то жесткие и емкие понятийные рамки. Поэтому до сих пор остаются понятийно не обозначенными системы, которые имели место, скажем, во Франции времен Наполеона III, в Германии бисмарковского периода или в России 1906-1917 гг., когда наряду с самодержавием императора существовала избираемая населением государственная дума (понятие “конституционная монархия” ни к одному из этих вариантов неприменимо, так как оно наполняется принципиально иным политическим смыслом и характеризует не промежуточные, а устоявшиеся политические системы, способные к саморазвитию на собственной основе). Поэтому же любая претензия такого рода будет корректной только в том случае, если она распространяется на ограниченную и предельно конкретную аналитическую задачу и не является претензией на исчерпывающую полноту и строгость. В этом смысле та же “делегативная демократия” вполне корректна, когда она претендует лишь на фиксацию ограниченного характера демократии, сводящейся исключительно к выборной легитимации главы государства при слабой институционализации властных институтов, и не претендует на фиксацию отличий между делегативными демократиями в таких, к примеру, странах, как Россия (если уж использовать применительно к ней данный термин), Перу, Белоруссия или Казахстан.¹⁴

Что касается исследуемых в статье сюжетов, то я сознательно ограничиваю свою задачу выявлением и понятийной фиксацией специфики российской политической системы, сложившейся в конце 1993 г. Другое самоограничение связано с тем, что и само это намерение не претендует на полноту и сводится к поиску термина, который раскрывал бы парадоксально-противоречивый и недееспособный характер нынешней российской верховной власти, сочетающей в себе институционально обусловленное тяготение к традиционному для страны способу функционирования с нетрадиционным способом легитимации.

Некоторое время я использовал с этой целью термин “*выборная монархия*”.¹⁵ Его главное достоинство виделось мне в том, что он достаточно адекватно выражает тот факт, что президентская власть в России совмещает в себе несовместимые элементы: монархические по объему полномочия, предполагающие божественную легитимацию и пожизненность осуществления властных функций, и ее формирование посредством политического воле-

14 Более адекватным содержанию политического феномена, о котором идет речь у О’Доннелла, был бы, на мой взгляд, термин “*моносубъектная* (или *делегативно-моносубъектная*) демократия”. Однако и при такой коррекции индивидуальное своеобразие российского варианта осталось бы не выявленным.

15 См.: Шевцова Л., Клямкин И. Эта всеильная бессильная власть. Выборная монархия в России и ее исторические перспективы // Независимая газета. 24-25 июня 1998.

изъявления населения на всеобщих выборах, предполагающее обязательную сменяемость по истечении определенного срока и неизбежно ведущее к размыванию сакральности, если первоначально она даже имела место.

Вместе с тем термин этот перегружен смыслами, не имеющими к современным российским реалиям никакого отношения.

О выборной монархии, как о своем политическом идеале, говорил в свое время де Голль. Однако он имел в виду нечто другое по сравнению с тем, что имеет место в сегодняшней России. Он имел в виду власть первого лица, воспринимаемого отцом нации, но при этом действующего в рамках функционального разделения властей и опирающегося прежде всего на свой моральный и политический авторитет, а не на юридические сверхполномочия.

С другой стороны, о выборной монархии уже не как об идеале, а как о сложившейся современной политической практике писал западный политолог У. Бенеми,¹⁶ акцентируя таким образом чрезмерный, по его мнению, объем полномочий британского премьер-министра. Разумеется, и этот смысл трудно совместить с политическим опытом сегодняшней России. К тому же подобный метафорический ряд, когда современность рассматривается в зеркале прошлого, мог появиться в западноевропейском сознании именно в силу того, что средневековая монархия, обладая божественной легитимацией, не имела монопольного права на толкование божественных предписаний; в противном случае ее вряд ли стали бы сравнивать с современными системами даже в том случае, когда хотят оттенить их несовершенство. Этим монархия западного типа отличается от российского самодержавия, которое таким правом себя наделяло, и его аналога в коммунистическую эпоху, когда генеральный секретарь ЦК КПСС обладал монопольной привилегией на интерпретацию официальной идеологической доктрины и толкование соответствия или несоответствия ей реальной политики.

Поэтому, с учетом российской традиции осуществления власти, более удачным представляется термин *“выборное самодержавие”*. Это, конечно, вовсе не означает, что властные полномочия российского президента превышают полномочия европейских монархов эпохи абсолютизма и равновелики полномочиям русских императоров (хотя на федеральном уровне с императорскими полномочиями думского периода они вполне соотносимы). Не является президент России и главным, а тем более единственным толкователем высших предписаний, в данном случае конституционных: согласно самой конституции, это привилегия конституционного суда. Данный термин призван лишь поставить нынешнюю власть в национальный исторический контекст и отразить те особенности, которые ею унаследованы, хотя и в ослабленном виде.¹⁷

16 См.: W.G. Benamy, *The Elected Monarch: The Development of Power of Primer-minister* (L., 1965).

17 Исследователи справедливо отмечают, что современная российская политическая система находится в преемственной связи с той линией русской политической мысли и

Разумеется, “выборное самодержавие” - это тоже метафора, а не понятие, претендующее на научную строгость. Но в тех случаях, когда речь идет не о широком классе явлений, а об индивидуальном феномене, совмещающем следование традиции и резкий разрыв с ней, такая метафоричность вполне уместна, так как только с ее помощью можно выразить своеобразие данного феномена.¹⁸ Мне кажется, что этот термин достаточно адекватно передает искусственность российской политической системы, несовместимость нетрадиционного способа легитимации высшего должностного лица, характерного для демократической политической парадигмы, с традиционным способом функционирования власти, характерным для парадигмы имперско-державной. Передает он, соответственно, и неизбежность трансформации этой системы, выстроенной непосредственно под Ельцина в условиях, когда давление ситуативных тактических проблем политической борьбы отодвигало на второй план любые стратегические соображения и обоснования.

Правда, вопрос о направлении трансформации остается пока открытым. Однако ее неизбежность - это не просто пожелание и не только прогноз. Такая трансформация уже началась, хотя и внутри прежней юридической рамки. Об этом лучше всего свидетельствует как раз феномен При-

политической практики, которая была инициирована проектом государственных реформ М. Сперанского (1809 г.) и реализована впоследствии в 1906-1917 гг., когда самодержавие пыталось совместить свое функционирование с деятельностью государственной думы (см.: *Пивоваров Ю.* Указ. соч. С.92). Естественно, с той существенной оговоркой (добавлю от себя), что тот проект выдвигался и та практика имела место в условиях не выборного, а наследственного самодержавия. Что касается другой линии, восходящей к конституционному проекту декабриста Н. Муравьева, предполагавшего утверждение института правительства, ответственного не перед императором, а перед парламентом, то она осталась в национальной политической истории маргинальной. Предложения ряда партий, выдвинувших идею “ответственного министерства” в период первой мировой войны, Николаем II были оставлены без внимания. Впрочем, сколько-нибудь серьезных доводов в пользу того, что в *тех* исторических условиях это помогло бы предотвратить катастрофу 1917 г., ни тогда, ни впоследствии приведено не было.

- 18 Попытки выразить содержание индивидуальных феноменов с помощью понятий, выработанных для широкого спектра сходных явлений, ведут обычно в теоретический тупик. Особенно наглядно это проявляется в тех случаях, когда существует несколько конкурирующих друг с другом понятийных конструкций. Выбрать из них подходящую практически невозможно, потому что в той или иной степени они подходят все, но при этом ни одна из них не исчерпывает своеобразия данного феномена. Поэтому я готов с пониманием отнестись к усилиям авторов, которые для характеристики российского политического режима считают возможным *одновременно* использовать - как взаимодополнительные - такие термины, как “демокрадура”, “делегативная демократия”, “авторитарная демократия” и др. (см.: *Мельвил А.Ю.* Указ. соч. С.28). Это - вполне логичный результат попыток выразить индивидуальный феномен с помощью общих понятий, охватывающих широкий класс явлений. Вопрос лишь в том, насколько осмысленны и продуктивны сами такие попытки.

макова, т.е. тот самый феномен, который нередко толкуется как свидетельство устойчивости системы и ее способности не только к самовыживанию при Ельцине, но и к самовоспроизводству после него. Попробую показать, что это не так, что феномен Примакова, сопровождавшийся стабилизационным эффектом, свидетельствовал одновременно и о начавшейся трансформации системы, о возникновении предпосылок для ее изменения. Насколько же сами действующие лица осознавали происходящее и какие ситуативные цели они перед собой ставили, в данном случае принципиального значения не имеет.

ФЕНОМЕН ПРИМАКОВА

Отказ Ельцина от конфронтации с государственной думой и выдвижение компромиссной фигуры Примакова означали, что вопрос о правительстве парламентского большинства из области прогнозов и пожеланий переместился в сферу политической практики. Это было также признанием того, что только политически сильный и самостоятельно действующий (в пространстве своих полномочий) глава кабинета может остановить прогрессирующее ослабление власти президента и ее легитимации. Это было, наконец, признанием того, что только самостоятельное и имеющее собственную политическую базу правительство способно решать те задачи, которые перед ним стоят.¹⁹

Дело не в том, насколько конкретное правительство, сформированное Примаковым в конце 1998 г., было способно справиться с ними. Дело в том, что при моносубъектной конфигурации власти, когда последняя вместе с ответственностью сконцентрирована в одном институте, они в сегодняшней России неразрешимы в принципе.

Таким образом, назначение Примакова можно рассматривать как важный шаг от моносубъектности федеральной власти в сторону разделения властей, осуществленный в юридических рамках этой моносубъектности и при их сохранении. И не так уж важно, что данное решение, как и все решения последних лет, приводившие к сдвигам в политической системе, было принято под давлением текущих обстоятельств и носило сугубо тактический характер. Главное, что оно было принято, а его признание означало констатацию неэффективности выборного самодержавия по сравнению с более демократической организацией власти. Не имеет принципиального

19 Показательно, что после 17 августа 1998 г. идея правительства, опирающегося на поддержку парламента, стала разделяться и таким политиком, как Е. Гайдар; до этого он делал ставку на президентскую моносубъектность, способную обеспечить поддержку реформаторов для "продавливания реформ" (выражение самого Гайдара). "До последнего времени, - пишет он, - я это не в полной мере понимал. Теперь же стало очевидно, что у правительства просто нет достаточных рычагов, чтобы без поддержки парламента проводить реформы" (см.: Русская мысль. 24-30 декабря 1998).

значения и то, что Ельцин, выдвигая приемлемую для государственной думы кандидатуру, в условиях глубочайшего кризиса руководствовался желанием переложить на оппозиционный парламент политическую ответственность за состояние экономики, не поступаясь при этом своими конституционными полномочиями. Главное опять-таки в том, что такое перекладывание ответственности было признанием непосильности его бремени для власти, пытающейся быть последовательно моносубъектной.

Новизна этого шага тем более бросалась в глаза, что движение в сторону правительства парламентского большинства началось отнюдь не с назначения Примакова, а гораздо раньше. Еще в 1997 г. Черномырдин, будучи премьер-министром и понимая, что при слабеющей легитимации президента без поддержки думы его правительство политически провисает, начал налаживать целенаправленные контакты с доминирующими в думе фракциями, превращаясь в своего рода буферную фигуру между президентом и нижней палатой парламента. Однако тогда Ельцин эту явно обозначившуюся тенденцию заблокировал, но не вообще, а попытавшись замкнуть ее на себя, т.е. самому стать ее персональным воплощением.

В конце 1997 г. президент несколько раз посетил думу (чего раньше не наблюдалось), в том числе и для вручения государственной награды ее председателю Г. Селезневу, представляющему коммунистическую фракцию. Одновременно были инициированы создание “большой четверки” (консультативно-совещательного органа, включающего в себя президента, главу правительства и спикеров обеих палат парламента), а также организация собирающегося от случая к случаю круглого стола с аналогичными полномочиями (наряду с перечисленными руководителями в его заседаниях получили право участвовать представители ведущих политических сил).

Эти шаги свидетельствовали о наметившихся сдвигах в представлениях о способах осуществления власти в постсоветской России. Во-первых, в них проявилось понимание того, что при отсутствии лояльности со стороны политического класса президентская моносубъектность оказывается в политическом вакууме и не может успешно функционировать. Во-вторых, в них проявилось осознание того факта, что при таких обстоятельствах премьер-министр, пользующийся поддержкой парламента как самостоятельная, отчлененная от президента фигура, реально становится вторым центром власти, т.е. воспроизводит в трансформированном виде то самое двоевластие, которое имело место в период деятельности верховного совета и съезда народных депутатов.

Последний год функционирования Черномырдина в качестве главы кабинета тем-то и интересен, что он показал: при сложившейся политической системе руководитель правительства неизбежно должен стремиться к увеличению своего политического веса, а политическое усиление премьера при институциональной нерасчлененности властных полномочий провоцирует возникновение конфликтной ситуации между ним и президентом, что действительно ведет к двоевластию и обострению кризиса управ-

ляемости. К тому же в случае с Черномырдиным дело осложнялось тем, что за ним стояли мощные группировки сырьевого комплекса, которые к тому времени почувствовали себя настолько сильными, что стали претендовать на высшую политическую власть и подталкивать Черномырдина к более целенаправленному самоутверждению как самостоятельной политической фигуры и главного претендента на пост будущего главы государства. Хотел он того или нет, но он должен был пытаться таким ожиданиям соответствовать.

Моносубъектность власти была восстановлена посредством отставки правительства и непримиримо-решительного проталкивания через сопротивлявшуюся государственную думу кандидатуры мало кому известного тогда С. Кириенко на пост премьера. Как и во всех предыдущих случаях, решение о выдвижении Кириенко обуславливалось ситуативными соображениями и было реакцией на предшествовавшие события. Логика тут была простая: если политически сильный премьер ставит под вопрос президентскую моносубъектность, то он, следовательно, политически должен быть заведомо слабым. Так возникла идея “правительства технократов”, которому следовало сосредоточиться исключительно на экономике и которое от политики отстранялось вообще. Реализация же этой идеи привела к тому, что в условиях стремительно прогрессирующего экономического кризиса не только правительство, но и президент оказались в политической изоляции, причем вся ответственность за происходящее при данных обстоятельствах легла на плечи президента.

Обвальная делегитимация его власти стала неостановимой, что наглядно продемонстрировало ее бессилие перед шахтерскими акциями протеста весной 1998 г., парализовавших железнодорожное сообщение во многих регионах страны. События 17 августа и вызванный ими политический кризис, отказ думы, несмотря на перспективу ее роспуска, утвердить вновь предложенную Ельциным на пост премьера кандидатуру Черномырдина заставили внести в систему выборного самодержавия существенные коррективы; от ее самодержавной составляющей пришлось отказаться, перейдя от конфронтации с большинством политического класса к серьезным уступкам ему.

Отсюда вовсе не следует, что нынешнее правительство непременно сохранится до парламентских, а тем более до президентских выборов в том составе, в каком оно первоначально сложилось и что возможный новый состав тоже будет поддержан парламентским большинством. Пока сохраняется юридическая рамка выборного самодержавия, возвращение к конфронтационной модели не может быть исключено в силу системной природы данного типа организации власти.

Ситуация осложняется еще и тем, что Россия, оказавшаяся на грани суверенного дефолта, находится в полной зависимости от поддержки международных финансовых организаций, а условия, на которых они такую поддержку оказывают, не совпадают с экономической и политической идеологией нынешнего парламентского большинства. Поэтому назначение

Примакова и предоставленное ему право сформировать согласованный с думой социально-экономический блок правительства можно рассматривать как своего рода политический эксперимент: он призван дать ответ не только на вопрос о том, насколько президентская моносубъектность способна освоить непривычную для нее компромиссную модель функционирования, но и на вопрос о том, насколько готов к этому российский парламент. Степень же его готовности определяется не одними лишь идеологическими и политическими установками доминирующих в нем фракций, но и тем, что институционально он, в отличие от президента, при существующей политической системе за деятельность правительства не отвечает. И пока она сохраняется, начавшееся после 17 августа движение в сторону правительства парламентского большинства может в любой момент смениться движением попятным.

Вместе с тем хотелось бы еще раз подчеркнуть, что тенденция к сотрудничеству правительства с парламентом, ставшая в первые месяцы примаковского премьерства политической практикой, пробивала себе дорогу и раньше, причем не только при Черномырдине, но и при Кириенко. Он тоже понимал, что одной президентской поддержки недостаточно, что правительство нуждается в более широкой политической базе. С этим были связаны его попытки наладить постоянные контакты с государственной думой и его настойчивость, проявленная, в частности, в уговаривании представителя коммунистической фракции Ю. Маслюкова войти в состав кабинета министров, чтобы курировать там промышленную политику, включая вопросы военно-промышленного комплекса.

Есть по меньшей мере четыре соображения, понуждающие уделить последнему факту, при всей его кажущейся незначительности, серьезное внимание. Во-первых, он означал признание реформаторами-западниками (по крайней мере, частью из них) того, что своими силами они не могут справиться с проблемами военно-промышленного комплекса, которых они не знают и которыми профессионально никогда не интересовались. Во-вторых, из этого следовало, что в стане западников появляются люди, осознавшие бесплодность конфронтации двух парадигм и необходимость их сочетания посредством инкорпорации державно-патриотической парадигмы в реформаторскую. В-третьих, привлечение в состав кабинета министров Маслюкова призвано было перевести державную парадигму из области безответственной риторики в область практической экономической политики, выявив тем самым и сделав достоянием общественности реальный *профессиональный* потенциал коммунистической оппозиции. Наконец, в-четвертых, этот и другие шаги Кириенко дают основания утверждать, что стремление правительства стать правительством думского большинства - это выявившаяся в политической практике закономерность, которая действовала внутри системы президентской моносубъектности вопреки первоначально замышлявшейся логике ее функционирования. В данном контексте и феномен Примакова был интересен, помимо прочего, тем, что он об-

наружил и сделал очевидной для всех неспособность российского выборного самодержавия противостоять тенденции к последовательно проведенному разделению властей.

Однако назначение Примакова казалось поворотным не только потому, что новый премьер, как никто до него, получил возможность реализовать проявлявшуюся еще раньше потребность в самостоятельном и ответственном правительстве, опирающемся на поддержку парламентского большинства. Функциональное отчленение правительства от президента и его администрации, даже в рамках юридически сохраняющейся моносубъектности федеральной власти, способствует и вычленению собственно *президентских* функций, равно как и конкретной сферы ответственности главы государства. Какими бы мотивами, в том числе и личными, ни руководствовался Ельцин в декабре 1998 г., когда он перевел в свое непосредственное подчинение налоговое ведомство и министерство юстиции и осуществил кардинальную кадровую перестройку своей администрации, впервые поставив во главе нее человека с генеральскими погонами, в этом тоже просматривались важные симптомы системной трансформации властных институтов, в которой нуждается постсоветская Россия.

Перед ней стоят две совершенно новые для нее исторические задачи: перевод экономики на рыночные рельсы и утверждение доселе неведомого ей типа общественного и государственного порядка, основанного на принципах права. Задачи эти взаимосвязанные: без рыночной экономики порядок в современных условиях может быть только тоталитарным, а рыночная экономика без эффективных правовых механизмов ее регулирования ведет к тотальному беспорядку. Историческое значение российского реформаторства последних лет в том-то и заключается, что оно позволило политическому классу и обществу познать столь очевидные истины на собственном негативном опыте. Но оно же дало возможность убедиться в том, что осуществление одновременного перехода к рыночной экономике и новому типу порядка непосильно для функционально не расчлененной власти, пытающейся совмещать недемократический способ функционирования с демократической легитимацией. Если решение первой задачи нереально без имеющего собственную политическую базу и ответственного перед населением правительства, то решение второй немыслимо без политического обеспечения со стороны сильной президентской власти, легитимность которой не подвержена колебаниям в зависимости от того, в каком состоянии находится экономика.

Модель выборного самодержавия не позволяет решить ни одну из этих задач. Чтобы стать дееспособной, она должна эволюционировать в одном из двух направлений. Первое - трансформация в самодержавие в более традиционном смысле слова, что в современных условиях означало бы формирование авторитарного режима, опирающегося непосредственно на силу. Второе - формирование политической системы с последовательно проведенным функциональным разделением властных полномочий, предпола-

гающим закрепление каждой из двух названных задач за институтами, имеющими собственную легитимацию, - правительством, формируемым парламентским большинством, и президентом.

Исторический опыт общественных трансформаций нового времени - от Кромвеля до Пиночета - свидетельствует о том, что без концентрации в руках лидера силовых ресурсов государства, организованных в дееспособные управляемые структуры, первый вариант принципиально не реализуем. Однако и вторая модель без такой концентрации в современной России, эволюционировавшей от тоталитарной упорядоченности к тотальному беспорядку, не осуществима тоже. Вот почему переподчинение Ельциным двух ведомств, имеющих непосредственное отношение к государственному правопорядку (все остальные были подчинены ему и раньше), равно как и его попытка организационно сблизить свою администрацию с советом безопасности, поставив во главе обеих структур одного человека, вполне правомерно рассматривать не только с ситуативной точки зрения.

Этот факт можно рассматривать и как симптом движения системы к авторитарной трансформации, и как первые шаги в направлении институционального расчленения функций президента и правительства, разделения между ними власти и ответственности по принципу: правительству - реформирование экономики, президенту - политическое обеспечение безопасности и правопорядка (что невозможно без концентрации в его руках силовых и правоохранительных ресурсов и приведения их в дееспособное состояние). Учитывая, что необходимым для авторитарного поворота потенциалом Ельцин не располагает, есть основания говорить о том, что его действия в конце 1998 - начале 1999 гг. закладывали определенные предпосылки для преобразования выборного самодержавия в более демократическую систему политических институтов.

Такая система вовсе не предполагает, что президент утрачивает функции гаранта конституции и верховного арбитра. Наоборот, только при такой трансформации властных институтов он получит возможность эти функции реально реализовать. В свою очередь, их реализация потребует от него стать не только *арбитром-стабилизатором* (сложившееся положение вещей стабилизировать нельзя), но и *арбитром-реформатором*, т.е. персонифицированным институциональным субъектом перехода от постсоветской неупорядоченности к правовому порядку.

Как и в случае с назначением Примакова, речь идет не о том, что нащупывание оптимального пути непременно приведет к реальному продвижению по этому пути. Скорее всего, при Ельцине такого продвижения не произойдет, ибо в его мотивации по-прежнему доминируют ситуативно-тактические установки, обремененные к тому же соображениями частного порядка, о которых я скажу ниже. Это создает обстановку неопределенности и непредсказуемости, в которой политические приоритеты определяются сиюминутной конъюнктурой, а не долговременными расчетами,

и поэтому могут перманентно меняться. Однако и в такой обстановке, как и в любой другой, действия высших должностных лиц целесообразнее всего оценивать не по их мотивации, а исходя из того, насколько их направленность соответствует или не соответствует стоящим перед страной задачам. Расчленение функций президента и правительства тем двум задачам, о которых говорилось выше, вполне соответствует. Другое дело, что без институционального преобразования сложившейся в России политической системы такое расчленение обеспечить невозможно, а это значит, что в оставшееся время ельцинского президентства возможны любые неожиданности.

РУССКАЯ ВЛАСТЬ И РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

Важен и другой аспект данной проблемы. Выход России из нынешнего *предпереходного* периода в период действительно *переходный* вряд ли осуществимо без формирования мобилизационной политической среды, а ее формирование не осуществимо исключительно на основе того *прагматизма*, который культивируется в России в противовес коммунистической идеологизированности. При неукорененности правового порядка такой прагматизм оборачивается тотальной коррумпированностью и взаимопопустительством общественных верхов и низов в беззаконии, которое приобретает масштабы, ставящие под угрозу существование самого российского социума. Это значит, что формирование мобилизационной среды вообще недостижимо только посредством реформирования экономики и лозунгов типа “обогащайтесь!”, ибо в сложившейся ситуации подобные лозунги способны мобилизовать лишь коррупционеров. Такая среда требует для своего возникновения не прагматизма, а *идеализма*, который в условиях современной России может появиться только внутри парадигмы *нового государственного и общественного порядка*. В прорыве к нему и заключается историческая функция российского президентства, и лишь реальное осуществление такого прорыва способно заблокировать авторитарный поворот и соответствующие ему способы формирования мобилизационной среды.

Есть достаточно оснований предполагать, что подобная трансформация власти и ее функций вполне соответствует российской политической культуре, если понимать под ней не что-то застывшее и постоянное, передаваемое из поколения в поколение в неизменном виде, а ее реальное сегодняшнее состояние, обусловленное происшедшими в ней в XX веке изменениями. Постсоветский человек по своему политическому менталитету представляет собой сложный гибрид взимопереплетающихся предрасположенностей. Во-первых, гибрид этот включает в себя элементы менталитета *традиционно российского* (неприятие реальной власти при сохраняющемся запросе на идеального правителя). Во-вторых, в нем сохраняются в ослабленном виде установки *модернистские* (надежда на возможность реализации модернистских проектов общественного переустройства удер-

живается в массовом сознании в силу общей необустроенности жизни). В-третьих, в нем отчетливо проявляется *постмодернистская* составляющая (разочарование после неудачи коммунистического эксперимента и сменившего его рыночно-демократического реформаторства в универсальных идеологических проектах и погруженность в индивидуально-семейную повседневность).

Эта ментальная гибридность обусловлена тем, что приватный человек, сформировавшийся вопреки официальным государственно-коллективистским установкам к концу коммунистической эпохи,²⁰ существует в стране с низким уровнем жизни и ее слабой и негарантированной упорядоченностью. В отличие от развитых стран, где постмодернистское сознание стало следствием богатства, в России мы имеем дело с оригинальным феноменом *постмодернизма бедности*, что и обуславливает сохранение в социальной памяти следов как традиционалистско-почвеннической, так и советско-модернистской политической культуры. При этом последняя вовсе не обязательно (более того - крайне редко) проявляется в специфически коммунистическом обрамлении; она может приобретать и приобретает самые разные формы, включая ориентацию на радикально-западнические идеологические проекты.

Думается, что историческая функция российского президентства, о которой было сказано выше, вполне адекватна таким условиям и такому менталитету. Эта функция отнюдь не чужеродна традиционно-российскому идеализму надежд на персонифицированную власть, в оценках которой *нравственные* критерии по-прежнему доминируют над собственно политическими, сочетаясь одновременно с этически окрашенным запросом на *законность*. Совместима она и с идеализмом модернистских проектов (идея принципиально нового для России правового порядка), равно как и с постмодернистской прагматичной сосредоточенностью на индивидуальной повседневной обыденности, ибо дефицит порядка - это сегодня проблема настолько же общая, насколько и частная, непосредственно затрагивающая каждого человека.

При сохранении же выборного самодержавия, парализуемого ответственностью за состояние экономики, в лучшем случае могут возникнуть лишь определенные предпосылки для движения в отмеченном направлении.²¹ Зафиксировать их крайне важно, и я попытался это сделать. Но не

20 Процесс индивидуализации сознания и поведения постсоветского человека зафиксирован автором в ходе проведенных под его руководством или при его участии многочисленных эмпирико-социологических исследований, результаты которых представлены в цикле статей, опубликованных в журнале "Политические исследования" в 1993-1997 гг. В этих же работах показывается, что предпосылки данного процесса были заложены в последние десятилетия советского периода.

21 Кризис нынешней модели российского президентства в значительной степени и связан как раз с тем, что она не в состоянии реагировать на данный тип сознания во всей его многоплановости. Об этом свидетельствуют те изменения в электоральном поведении

менее важно отдавать себе отчет и в том, что в нынешних условиях само движение неизбежно блокируется ситуативной мотивацией и истощенностью личного политического ресурса Ельцина. Имевшие место в начале 1999 г. антикоррупционные инициативы Примакова, таким ресурсом обладавшего, компенсировать эту истощенность не могли, ибо были скорее ситуативными, чем долговременными; их природа в первую очередь политическая и лишь во вторую - юридически-правовая.

и, что в данном случае еще важнее, в электоральном сознании, которые произошли на протяжении 90-х годов.

На первых президентских выборах (1991 г.) фигура Ельцина синтезировала все три составляющие трехслойного российского менталитета. Он выглядел в глазах большинства населения и воплощением лидера, противостоящего существующей несправедливой власти, и носителем модернистского проекта общественного переустройства (рынок и демократия вместо коммунизма), и олицетворением надежд на новое частное пространство и новую повседневность. Поэтому в то время у него практически не было конкурентов.

В 1996 г. Ельцин был переизбран совсем в другом качестве. Все три составляющие его политического образа в массовом сознании были уже в значительной степени разрушены. Однако альтернативой ему в этом отношении не воспринимался и его основной конкурент - руководитель коммунистической партии Г. Зюганов: последний не соответствовал традиционному образу идеального вождя (по своему политическому типу Зюганов не харизматический лидер) и не выглядел олицетворением модернистского проекта - ни коммунистического, ни - тем более - какого-то другого. Противостояние Ельцин - Зюганов явилось фактически противостоянием двух моделей повседневности - модели брежневского периода и той, которая начала складываться во времена Ельцина. Это был выбор между позднесоветским и постсоветским аналогами нынешних постмодернистских установок. Что касается традиционалистской и модернистской составляющих современного российского менталитета, то они у большинства избирателей во время голосования были отключены.

Единственным кандидатом, который реально претендовал на воплощение ментального синтеза, был генерал А. Лебедь, занявший в первом туре третье место. Он достаточно успешно соединял в своей политической стилистике черты традиционного вождя и модернизатора, носителя идеи старо-нового общественного порядка; в этом смысле его предвыборный девиз - *"правда и порядок"* - вполне соответствовал постсоветскому ментальному контексту. Однако Лебедю не удалось войти в контакт с постмодернистским аспектом массового сознания, который в современной России доминирует; он выглядел политиком, находящимся не внутри повседневной обыденности, а как бы над ней. Судя по всему, он чувствовал эту проблему и - растерялся перед ней. Ни в чем, пожалуй, это не проявилось так отчетливо, как в том, что он шел на выборы с двумя взаимоисключающими друг друга социально-экономическими программами, написанными для него экономистами противостоящих ориентаций - государственно-патронажной и либерально-рыночной. Уже само их наличие означало, что соединение традиционалистской и модернистской составляющих своего имиджа Лебедь хотел распространить и на область экономики, т.е. на область, наиболее тесно соприкасающуюся с повседневностью. Но именно это его из повседневности и выталкивало, ибо ни в какие *экономические проекты* разочарованное население уже не верило (этим же, кстати, обусловлены и политические трудности лидеров, являющихся профессиональными экономистами, -

Премьер, чтобы поддержать свой имидж системного стабилизатора, вынужден был инициировать нанесение выборочных ударов по тем группам крупного бизнеса, которые, используя находящиеся в их распоряжении СМИ, этот имидж пытались разрушить. Но такая борьба за обеспечение политической лояльности по отношению к себе и своему правительству - это максимум того, что позволительно в сложившейся ситуации руководителю кабинета. Однако и в данном случае успех ему отнюдь не гарантирован, о чем красноречиво свидетельствовал поток компрометирующих материалов против отдельных членов правительства, почти сразу же появившихся в СМИ в ответ на проявленную Примаковым активность.

Иными словами, подобные действия в лучшем случае выявляют *системные* корни нынешней российской коррупции, о чем и так хорошо известно, но на их выкорчевывание премьер, не будучи первым лицом, при нынешней политической системе претендовать не может. В результате возникла ситуация, когда вынесенный на политическую поверхность вопрос о тотальной криминализации стал мощным дополнительным дестабилизирующим фактором, втянув в свою орбиту не только отдельных политиков и высокопоставленных чиновников, но и целые властные институты. После предпринятых Примаковым инициатив стало еще более очевидным,

не только Гайдара и других бывших реформаторов, но и такого стабильно оппозиционного политика, как Г. Явлинский).

Осознавал Лебедь или нет, но реальная проблема, вставшая перед ним, заключалась в следующем: чтобы войти в политический контакт с доминирующими в менталитете постмодернистскими установками, он должен был дистанцироваться от экономики вообще и выступить с идеей функционального отчленения полномочий президента от полномочий правительства не ради ослабления, а ради *усиления* властных позиций главы государства. Однако к этому, судя по всему, он был совершенно не готов, а готово ли было воспринять столь крутой поворот тогдашнее общество, задним числом сказать трудно.

Но как бы то ни было, пример Лебеда показал, что традиционалистские и модернистские установки, ослабленные экономическими неудачами и обманутыми ожиданиями последних лет, свою связь с экономикой (и, соответственно, с преобладающими в массовом сознании постмодернистскими элементами) в значительной степени утратили. Поэтому если их и можно актуализировать, то только резким смещением акцентов: традиционные, модернистские и постмодернистские ориентации населения могут синтезироваться в электоральном поведении лишь в том случае, *если экономика начнет восприниматься производной от более фундаментальной проблемы общественного и государственного порядка.*

В противном случае на предстоящих президентских выборах скорее всего вновь будут конкурировать две модели повседневности - позднесоветской и нынешней - с той лишь разницей, что вторая будет представлена на этот раз не Ельциным, а другой фигурой, ассоциирующейся в массовом сознании с постсоветской практикой, но не обремененными ответственностью за обвал 17 августа. И только в случае новых обвалов и углубляющегося распада постсоветской повседневности в спор за президентскую власть может вмешаться политик откровенно авторитарного толка, который, в случае успеха, попытается трансформировать нынешнее выборное самодержавие в режим личной диктатуры.

что Россия остро нуждается в политическом субъекте, способном начать движение к правовому порядку, и что такого субъекта в стране сегодня нет.

В современной России стратегические проекты, затрагивающие влиятельные группы интересов, могут выдвигаться только президентом, а у президента, как уже было сказано, отсутствует необходимый для этого политический капитал. Максимум, на что он в такой ситуации может быть способен, - это имитация наступления на коррупцию посредством нанесения выборочных ударов по отдельным криминальным группам и лицам. Принципиально новые исторические задачи не решаются на излете государственной карьеры лидера. Осознанный и последовательно реализуемый стратегический выбор в положении Ельцина после 17 августа был уже вряд ли возможен.

Скорее всего в своих решениях, принятых в конце 1998 - начале 1999 гг., он руководствовался желанием создать организационные рамки для более надежного контроля за силовыми ведомствами и обеспечения лояльности со стороны как можно большего числа политических и экономических субъектов. Тем самым он надеялся, очевидно, компенсировать политическое влияние Примакова, сохранить власть и ведущие позиции на политической сцене до выборов 2000 г., обеспечив максимально благоприятный для своей послепрезидентской жизни исход самих выборов; показательно, что в начале 1999 г. вопросы, связанные с предстоящей избирательной кампанией, впервые стали включаться в повестку дня заседаний совета безопасности. Да и отказ от конституционной реформы, касающейся перераспределения полномочий между ветвями власти, свидетельствовал, как можно предположить, об опасении потерять контроль за развитием событий после того, как в конце 1999 г. пройдут выборы в государственную думу.

В случае, если конституция будет предусматривать формирование после них и на основе их результатов правительства парламентского большинства, ответственного перед думой, а не перед президентом, это создаст значительное, быть может, решающее преимущество будущему премьеру в период перед выборами главы государства. Влияние же самого Ельцина на ход событий, учитывая окончательное завершение его президентства, может свестись к минимуму. Сохранить зависимого от президента председателя правительства в преддверии президентских выборов, не дать ему превратиться в самостоятельную фигуру, стать центром притяжения различных сил и интересов - этим, очевидно, и объясняется отказ Ельцина от проведения конституционной реформы.

Сейчас (я завершаю статью в феврале 1999 г.) трудно сказать, насколько оправдан такой замысел, если даже рассматривать его исключительно в логике его авторов. Неясно, в частности, удастся ли сохранить то неустойчивое политическое равновесие, которое было достигнуто благодаря назначению Примакова и без чего замысел не может быть реализован. Проблема эта не ситуативная, а фундаментальная, истоки которой тоже уходят

в российскую традицию осуществления власти и ее восприятия подвластными.

Учитывая слабость легитимации Ельцина, падение которой по мере приближения выборов будет прогрессировать, а также беспрецедентность для России самого факта фиксированного во времени ухода со своего поста высшего должностного лица, можно предположить, что влияние нынешнего президента на ход событий будет уменьшаться. В российской традиции с начальством принято считаться лишь постольку, поскольку его пребывание в качестве начальства по срокам не регламентировано; пожизненное пребывание у власти главы государства эту традицию поддерживало и ею же поддерживалось само. И если избрание Ельцина населением было первым шагом страны в новую политическую эпоху, то период, непосредственно предшествующий его уходу, равно как и сам уход, станут временем, потребовавшим второго такого шага, а готовность к нему российского политического класса, во многом унаследовавшего традиционалистский менталитет, будет оставаться под вопросом вплоть до президентских выборов.

Но в любом случае назревшее реформирование российской политической системы придется осуществлять уже новому президенту. А захочет ли он это делать, получив огромные конституционные полномочия и имея в течение какого-то времени после выборов определенный запас политической прочности, будет зависеть как от состояния страны, в котором он ее примет, так и от его способности извлечь уроки из опыта функционирования выборного самодержавия в исполнении Ельцина. Неопределенность увеличивается еще и потому, что государственная дума будет выбрана в 1999 г. в соответствии с ее *нынешними* полномочиями, а это значит, что проведение конституционной реформы, строго говоря, должно предполагать ее досрочный роспуск и новые выборы. Короче говоря, проблемы, которые унаследует новый глава государства, окажутся достаточно сложными, чтобы можно было уверенно прогнозировать развитие ситуации после 2000 года.²²

Упреждая же ход событий, рискну высказать одно предположение и одно предостережение.

Предположение связано с тем, что на президентских выборах преимущество может получить кандидат, который уже в своей предвыборной программе сделает ставку на разделение власти и ответственности и будет апеллировать не столько к прагматизму, сколько к идеализму избирателей. Идеализм же этот, повторю еще раз, не может появиться, если пытаться пробу-

22 Учитывая состояние здоровья Ельцина, нельзя полностью исключать и возможность того, что президентские выборы могут состояться досрочно. Разумеется, при таком развитии событий возникнет несколько иная ситуация, однако суть проблемы, обусловленной состоянием политической системы и необходимостью ее реформирования, не изменится и в данном случае. Наоборот, проблема эта предстанет тогда в более чистом виде, так как отпадут специфические превходящие факторы, связанные с завершением президентства Ельцина и его послепрезидентской судьбой.

дить его обещаниями быстрого экономического благополучия; политическая роль экономического популизма в России на сегодняшний день исчерпана. У меня нет полной уверенности в том, что после разочарований перестроечных и постперестроечных лет демократический идеализм способен возродиться и стать мобилизующим политическим фактором. Но если все же способен, то только внутри парадигмы нового общественного порядка.

Предостережение же касается некоторых иллюзий, связанных, в частности, с феноменом Примакова. Как уже отмечалось во вводной части статьи, есть все основания предполагать, что этот феномен и вызванный им стабилизационный эффект могут рассматриваться как серьезный довод в пользу того, что систему выборного самодержавия можно не только законсервировать, но и пролонгировать в будущее. Такой довод не представляется достаточно серьезным.

Феномен Примакова изначально означал лишь то, что при определенных обстоятельствах в современной России возможен прецедент, когда существует правительство, не сформированное непосредственно парламентским большинством, но этим большинством поддерживаемое. Однако такой прецедент, как уже неоднократно отмечалось, не может стать обыденной политической повседневностью в ситуации, когда парламент и его отдельные фракции реально за деятельность правительства и ее результаты не отвечают. До тех пор, пока сохраняется система выборного самодержавия, сохраняется и институциональная основа для всех тех конфликтов, которые были характерны для периода 1993-1998 гг. и которые в общих чертах были описаны выше. В лучшем случае ситуацию удастся заморозить до предстоящих президентских выборов, в худшем - не получится и это. При новом же президенте, кто бы им ни был, потенциал конфронтационности, заложенный в нынешней политической системе, в той или иной степени реализуется неизбежно. Рассчитывать на то, что феномен Примакова и соответствующая практика взаимоотношений президента, парламента и правительства могут воспроизводиться и в дальнейшем, обретя статус традиции, - значит не отдавать себе отчет в конкретной политической природе самого этого феномена, сводя его исключительно к личным качествам нового российского премьера.

Конечно, у Примакова есть целый ряд индивидуальных особенностей, которые после 17 августа делали его адекватным сложившейся ситуации и той роли, которая ему в ней отводилась. Но главное все же не в этих особенностях, а в самой ситуации. Если бы даже у Примакова в пору его назначения на пост председателя правительства были президентские амбиции, как были они у Черномырдина в заключительный период его премьерства, ему, в отличие от Черномырдина, не было никакой необходимости форсировать наращивание своего политического капитала по той простой причине, что он у него и без того был более значительный, чем у кого бы то ни было, включая президента.

Своеобразие и парадоксальность сложившегося положения вещей в том-то и заключались, что не президент для премьера, а премьер для президента стал главным легитимирующим фактором. Выборное самодержавие впервые выступило тогда в двух лицах: юридическом (президент) и политическом (глава правительства). И природа феномена Примакова поначалу только к тому, в конечном счете, и сводилась, что это был феномен политически сильного премьера, компенсировавшего политическую слабость главы государства, испытывавшего к тому же серьезные и прогрессирующие трудности со здоровьем. Это не опыт разделения власти и ответственности, а ситуативный опыт *неконфронтационного двоевластия*, который если и может пригодиться преемнику Ельцина, то лишь после того, как его легитимационный ресурс, полученный на выборах, окажется исчерпанным.

В своих рассуждениях я исхожу из допущения, что феномен Примакова сохранится до парламентских выборов в том виде, в каком он существовал в конце 1998 - начале 1999 гг., и что потенциал конфронтационности, заложенный в политическую систему, не приведет к серьезной трансформации данного феномена. Я абстрагируюсь, в частности, от того факта, что сам Примаков довольно быстро осознал уязвимость своего положения между думой и президентом, согласие которых относительно его адекватности должности премьера лишено институциональной основы, и потому в любой момент он может оказаться без поддержки какой-либо из сторон или той и другой одновременно. Январская (1999 г.) инициатива премьера, предложившего заключить политическое сроглашение между ветвями власти, гарантирующее правительству относительно устойчивое положение до выборов, не оставляет на сей счет ни малейших сомнений. Кстати, уже сама по себе эта инициатива явилась косвенным подтверждением несообразности политической системы, при которой правительство, чтобы быть дееспособным и чувствовать себя уверенно, предлагает другим ветвям власти временно отказаться от их *конституционных* полномочий.

Показательно однако, что тогда же появились и первые симптомы конфронтационности, которыми система выборного самодержавия отзывается на любые не от нее исходящие политические инициативы. И дело тут опять-таки не только в личных особенностях Ельцина. Он лишь пытается соответствовать своей функции в системе, резонно полагая, что несоответствие ей будет воспринято как его личная и политическая слабость.

Но я все же готов допустить, что по крайней мере до парламентских выборов система будет функционировать в компромиссном режиме, и феномен Примакова сохранится в своем первоначальном виде. Только при таком допущении мое предостережение будет иметь смысл. Если же природа системы проявится и в данном случае, то надобность в нем отпадет, ибо тогда уже вряд ли кто усомнится в том, что иначе она функционировать не в состоянии. Впрочем, и тогда один вариант еще останется неиспробованным, а именно - вариант той же системы, но при другом президенте. А значит, могут сохраняться и иллюзии относительно ее дееспособности.

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЫИ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Россия переживает очередной критический период своего развития. С одной стороны, в стране сложились определенные предпосылки для трансформации политической системы, унаследовавшей ряд традиционалистских особенностей и обнаружившей свою недееспособность в решении задач переходного периода, в систему более демократическую, основанную на функциональном разделении власти и ответственности. С другой - реализация этих предпосылок может натолкнуться на политическую инерцию, блокирующую трансформацию, и малооправданные расчеты на то, что разделение власти и ответственности может быть обеспечено в юридических рамках президентской монособъектности. Но если они реализованы не будут, то будут постепенно вытесняться предпосылками для трансформации в прямо противоположном, т.е. авторитарном, направлении, в направлении прямой диктатуры, о неизбежности и даже необходимости которой некоторые политики (например, А. Лебедь) после 17 августа заговорили уже открыто.²³

Консенсус относительно оптимальности демократии для современной

23 Если среди ведущих российских политиков высказывания о диктатуре, авторитарном режиме и т.п. пока скорее исключение, чем правило, то в кругах идеологов и экспертов самых разных политических ориентаций подобные идеи обсуждаются достаточно широко, а после 17 августа 1998 г. - особенно. О таких настроениях, в том числе и в либеральной политической и околополитической среде, с тревогой писал, например, бывший пресс-секретарь Ельцина В. Костиков (см.: *Костиков В. Соблазны и вызовы "национальной диктатуры"* // Московские новости. 1998. №35).

Но если в этой среде занимаются, в основном, прогнозами и выступают с предостережениями, то среди идеологов оппозиционных течений (прежде всего державно-националистического толка) идет интенсивная разработка авторитарных *проектов*. При этом широко используются, с одной стороны, идеи популярного в современной России русского философа-эмигранта первой волны И. Ильина (о необходимости национальной диктатуры после ликвидации коммунистического режима), а с другой - целенаправленно изучается и актуализируется применительно к российскому контексту опыт реальных авторитарных режимов XX в., олицетворяемых фигурами Франко, Салазара и др. Особенно тщательно разрабатывается в последнее время эта проблематика авторами журнала "Вече" (см., например: С.О. /инициалы или псевдоним автора. - И.К./ Россия сегодня // Россия завтра. 1998. № 60; *Воейков Н.* Пример Салазара // Там же). Журнал, правда, издается за рубежом, но в данном случае важен сам факт программной разработки проекта посткоммунистической национальной диктатуры для России. Ведется такая работа и внутри страны - достаточно сослаться, скажем, на многочисленные книги, статьи и интервью А. Дугина. Пока это делается при некотором отдалении от главных и даже большинства второстепенных политических игроков: последние предпочитают от такого рода идей дистанцироваться, так как в данный момент больших политических дивидендов они принести не могут. Но если политический спрос на эти идеи возникнет, то, благодаря уже созданному и создаваемому сегодня идеологическому заделу, он будет удовлетворен сполна.

России ни в политическом классе, ни в обществе еще не сложился. Неэффективность институтов, функционирующих сегодня в стране, воспроизводит тип политиков, мыслящих в логике отложенных проектов реанимации традиционных для страны способов организации власти, приспособленных к современным условиям. Это еще один довод в пользу того, что система выборного самодержавия не может быть законсервирована; ее преобразование можно лишь искусственно задержать. Однако такая задержка обрекает страну на проживание в мертвом политическом времени, в котором будущее рано или поздно начнет восприниматься как прошлое.

Меньше всего я хотел бы быть понятым в том смысле, что демократическая трансформация политической системы является панацеей от всех трудностей и тяжелейших проблем, в том числе и от тех, с которыми страна столкнулась при выборном самодержавии. Опыт Франции показывает, что избранная ею президентско-парламентская модель, которая могла бы стать ориентиром для современной России, не страхует от политических (в том числе конституционных) кризисов, когда президент и парламентское большинство представляют разные партии. Но, во-первых, речь не идет о механическом копировании этой модели: учитывая масштаб реформаторских задач, стоящих перед страной, и особенности ее политических традиций, полномочия российского президента и его институциональная база должны быть шире, чем у французского. Во-вторых, тот же французский пример свидетельствует о преодолимости конфликтов и кризисов, характерных для данного типа институционализации власти. В любом случае, потенциал конфликтности системы, основанной на нерасчлененности власти и ответственности, значительно выше, чем у системы, в которой полномочия и ответственность различных институтов строго разграничены и в которой возникновение политически безответственных институтов надежно заблокировано.

Не гарантирует такая трансформация и от последующей трансформации авторитарной - пример перерождения Веймарской республики в данном отношении далеко не единственный. Однако нелишне напомнить и о том, что Гитлер получил власть не тогда, когда правительство формировалось парламентским большинством, а в той политической атмосфере, которая сложилась после 1930 г., когда президент П. Гинденбург стал назначать главу правительства независимо от соотношения сил в рейхстаге, т.е. начал действовать в режиме выборного самодержавия (конституция ему такую возможность при определенных обстоятельствах предоставляла). Так что и данный пример можно рассматривать как аргумент в пользу реформирования, а не консервирования российской политической системы.

Есть и еще одна проблема, которую нельзя игнорировать. Переход России к новому для нее типу правового порядка и его закрепление не могут быть краткосрочными. Между тем срок деятельности президента ограничен: даже при повторном избрании он не может превышать восьми лет. Это создает и будет создавать серьезные трудности в плане обеспече-

ния преемственности верховной власти. Увеличение срока (по той же французской модели) в современной России не пройдет: консенсус политического класса в данном отношении не реален. Вряд ли возможен и вариант управляемой плебисцитарной демократии, который используют для prolongации времени своего пребывания у власти лидеры бывших республик Центральной Азии. Вместе с тем нельзя исключать, что в России данная проблема поддается решению в рамках модели *доминирующей партии*, позволяющей обеспечивать преемственность власти при сохранении демократического вектора развития.

Мировой политический опыт свидетельствует о том, что такая модель в модернизирующихся обществах может быть достаточно эффективной. Кроме того, она вполне соответствует отечественной традиции. Тот факт, что все основные кандидаты в президенты, в отличие от Ельцина, создают свои партии, правомерно рассматривать как движение в данном направлении. Однако при сохранении системы выборного самодержавия и это движение, как опять-таки свидетельствует пример ельцинского правления, будет неизбежно заблокировано по той простой причине, что система эта обрекает президентскую власть на делегитимацию, а последняя, в свою очередь, исключает устойчивую консолидацию президентской партии. Более того, при таком положении вещей блокируется формирование самой культуры партийно-корпоративной ответственности и воспроизводится феномен политической безответственности.

Вот почему свою задачу автор и видел прежде всего в том, чтобы показать неспособность сложившейся в России политической системы, ее неадекватность стоящим перед страной проблемам и вытекающие отсюда угрозы ее авторитарного или авторитарно-националистического перерождения. Вместе с тем я пытался выявить и зафиксировать и сложившиеся внутри нее некоторые предпосылки для демократической трансформации. При этом я не считал нужным в ходе анализа абстрагироваться от своих политических позиций, от личных представлений о том, что является *желательным* для страны. Думаю, что при исследовании переходных, незавершенных процессов такое абстрагирование невозможно в принципе, и вопрос лишь в том, считает ли исследователь нужным свои пристрастия завуалировать или, наоборот, зафиксировать и акцентировать их присутствие в логике анализа.

В данном случае политические предпочтения автора сказались прежде всего в том, что он, стараясь быть корректным в описании фактов и реальных процессов, сознательно искал в них объективные предпосылки, свидетельствующие о том, что современная Россия сохраняет исторический шанс сделать начавшуюся демократическую трансформацию необратимой. А шанс, если он дается, - это то, чем можно воспользоваться, помня как о том, что его можно упустить, так, разумеется, и о том, что стопроцентных шансов история не дает вообще.

Февраль 1999 г.